

С ключом на шее

Автор:

Карина Шаинян

С ключом на шее

Карина Шаинян

Маленький город у дальнего ледяного моря. Трое детей, которые любят гулять там, где не следует, находят и спасают раненого мальчика. Вскоре они понимают, что их новое знакомство может оказаться опасным. А тем временем в городе убивают детей, и только трое друзей могут знать, кто это делает.

Спустя многие годы им придется снова собраться вместе, чтобы преодолеть воскресшее прошлое.

Карина Шаинян

С ключом на шее

© Шаинян К., 2021

© Издание, оформление. АО «Т8 Издательские Технологии», 2022

* * *

Верхняя треть острова по своим климатическим

и почвенным условиям совершенно непригодна

для поселения и поэтому в счет не идет.

А. П. Чехов

Часть 1

0

Той ночью ей снова приснился город О., пустой и мертвый под маленьким бледным солнцем. Колючий от соли ветер царапал перекресток рядом с седьмой школой, и нарисованные на торце соседней пятиэтажки гигантские нефтяник и нефтяница, когда-то казавшиеся такими красивыми, истерлись, превратившись в тусклые пятна. Время их съело. Так говорил Голодный Мальчик: «Время съело» – и ухмылялся дыркой на месте позднего молочного зуба.

Она перешла безлюдную улицу, стараясь не наступать на трещины в заметном песком асфальте, и через пыльные заросли пижмы и полыни начала пробираться к развалинам взрослой больницы. Сухие прошлогодние стебли чиркали по голым рукам. Царапины тут же вспухали красными валиками и страшно зудели; она бессознательно драла их ногтями, слишком сосредоточенная на скрытых травой колдобинах под ногами, чтобы заметить, чем заняты ее руки.

Крыша больницы давно рухнула; из обломков стен торчала ржавая арматура. Она перебралась через бетонные плиты, наваленные у входа, как кости великанского домино, побелевшего от морских ветров, и оказалась внутри. Под ногами заскрипел песок. Из разбитого окошка регистратуры пробивался чахлый куст ольхи; его скрюченные, полуголые ветви тянулись через коридор, как пальцы скелета. Она протиснулась мимо, прикрывая растопыренной ладонью лицо и вжимаясь в ненадежную стену. Ей нужно было дальше, в глубину здания. Обдирая ладони о шершавые обломки, она перелезла через внутреннюю перегородку и наконец оказалась в центре развалин.

От перекрытий остались только горы строительного мусора, и вся срединная часть больницы превратилась в одну гигантскую палату. Здесь всё заросло бурьяном; запах раздавленной ботинками пижмы почти не отличался от застарелого запаха лекарств, въевшегося в штукатурку. Ряд кроватей тянулся так далеко, что последние койки терялись в дымке. Люди на них, опутанные мутными трубками, едва угадывались под серыми одеялами. Все эти годы они так и лежали здесь, среди развалин главной больницы города О., абсолютно неподвижные, лишенные воли и чувств, но все-таки живые. Все еще живые.

Она увидела Фильку – он застыл на третьей или четвертой от нее койке. Ему по-прежнему было десять, и его брюхо вздымалось, как дряблый дирижабль. Она хотела окликнуть его, но голос ничего не значил в этом пронизанном холодным светом пространстве. Она шагнула вперед; под ногами захрустел битый кирпич. Лежавший на ближайшей койке взрослый открыл глаза. Мутные белки с тихим шелестом провернулись в глазницах, и она замерла в тщетной надежде, что этот человек не заметит ее.

Затянутые плесенью зрачки уставились прямо на нее. Она хотела позвать на помощь Голодного Мальчика, но ветер забил в горло холодный сухой кляп. Голодный Мальчик не придет. Теперь она вспомнила: она победила его, как победила этого человека с сосредоточенным взглядом убийцы. Сделала так, чтобы время их съело.

Лицо мужчины исказилось. Обрывая трубки капельниц, он поджал колени, загородился ладонями и закричал.

1

Яна Нигдеева шумно влетела на кафедру: короткие рыжие волосы – дыбом, бледное мальчишеское лицо пошло бурыми пятнами, воротник рубашки съехал набок. Хотела что-то сказать – и замерла посреди кабинета с воздетой к потолку ведомостью. Ярость в карих глазах сменилась оторопью.

И без того мрачноватое помещение теперь выглядело почти жутко. Между висящими на стене отвратительно-манерными театральными масками, притащенными из Индонезии завкафедрой Клочковым, кто-то прилепил несколько детских рисунков. Твари, изображенные на них, отдаленно походили на гномов, – но порожденных не фантазией сказочника, а ночными кошмарами.

Сделанные разной рукой и с разной степенью мастерства, все они выглядели гипнотически убедительно.

Боевой запал Яны иссяк, рассеянный парализующими эманациями этих существ. Она с трудом отвернулась, скользнула взглядом по подоконнику, где поверх курсовых рыхлой грудой валялась тусклая тряпка – то ли старая сеть, то ли часть одежды, срезанная с мумифицированного трупа, – и хлопнула ведомость на кучу бумаг. Рухнула на стул, вытянув ноги на середину кабинета.

– Надо кофе, – пробормотала она, обращаясь к своим ботинкам. – Или пулемет. Кофе и пулемет. И розги.

Завкафедрой, нелепо-огромный для такого маленького кабинета, переминался рядом со своим столом, как боксер на ринге, поглаживая покрасневший шрам на лбу. В противоположном углу раздраженно листала курсовые Ирина. Обычно безупречная до незаметности, сейчас она выглядела чуть встрепанной.

– Так плохо? – краем рта улыбнулась она.

– Чистых кружек не осталось, – рассеянно отмахнулся Клочков. – Лучше скажите... Вы наверняка специалист в таких делах! Так скажите мне, Яна Александровна, как вызвать гномика?

– Намазать зубной пастой дверную ручку в туалете, – машинально ответила она.

– Видите! – торжествующе повернулся Клочков к Ирине. – Куда лезете со своими нитками? Выключить свет, намазать...

– Но вы не можете с этим работать, – перебила Яна.

– Начинается... – Клочков возмущенно покрутил толстой шеей.

– Вы заранее знаете правильный способ, – упрямо договорила Яна. – Вы – носитель. – Она прищурилась на сероватую ксерокопию статьи на столе Клочкова. – Ракарский? Вы бы еще Кастанеду в источниках указали!

– И укажу, если надо будет. Ты маньяк, Нигдеева! Я носитель фольклора, а не чумы!

– Это один черт... Жрать охота, – вздохнула она.

– Тебе вечно жрать охота...

– И кофе.

Не вставая, она дотянулась до кружки, поморщилась, глядя на размазанную по стенкам кофейную гущу. «Да тихо ты!» – громко сказал кто-то в коридоре. Из-за двери донеслись нервные смешки. «Давай, не бойся», – послышался отчетливый шепот. Дверь кафедры со скрипом приоткрылась, и в щель просунулась голова. Яна скользнула взглядом по полужнакомому лицу, гладким каштановым волосам.

– Это вроде твоя, – подсказала Ирина.

Яна уныло кивнула.

– Зачет... – проговорила студентка. – Я опоздала... по уважительной... Можно?

– Очнулись! – фыркнула Яна. – На пересдачу.

Студентка упрямо протиснулась в кабинет, сжимая зачетку обеими руками.

– Но, Вендига Александровна... – решительно заговорила она – и оборвала сама себя, в ужасе прижав пальцы к губам.

«Ой, мама», – трагически выговорил кто-то за дверью. Клочков радостно подобрался.

«Сейчас закопает», – убежденно прогудел юношеский бас.

Студентка всхлипнула и бросилась вон.

– Чего это она? – удивилась Яна.

Клочков, корчась, замотал головой.

– Ну хотя бы ныть не стала, – пожала плечами Яна. – И почему все считают, что, если понять, я передумаю?

– Ты еще спроси, почему тебя прозвали Вендигой...

Взгляд Яны расфокусировался; несколько секунд она беззвучно шевелила губами, потом пожала плечами.

– Анаграмма?

Клочков прыснул.

– Да! – почти выкрикнула Ирина с непонятным облегчением. – Да, конечно!

– И давно?

– Лет пять уже.

– Остроумцы чертовы...

– Мы думали, ты знаешь, – виновато сказала Ирина.

– Да откуда?!

– Обычно люди такое знают, – встрял Клочков. – А что твой кулончик – из человеческой кости, ты тоже не знала? Откуда он, кстати?

– В детстве подарили, – быстро ответила Яна и поправила воротник. Желтоватый резной цилиндрок скрылся под тканью.

– А если ты в него свистнешь, вся группа завалит сессию, никто не спасется, – добавила Ирина.

Яна оживилась:

– А ведь это фольклор! Надо в следующем году подкинуть в темы для курсовых, неплохая работа может выйти, если с умом... Надо кофе.

– Так помой кружку, – усмехнулась Ирина.

– Или пей из черепа студента, – предложил Клочков и вдруг хлопнул себя по лбу. Сдернул с подоконника жуткую тряпку. – Кстати о черепах, тебе тут просили передать... Это что, кусок савана?

Длинная полоса ткани походила на шкуру дохлого чеширского кота в изображении безумной вязальщицы. Эту штуковину сплели из того, что нашлось под рукой: замусоленных обрывков толстых ниток, веревок, длинных лоскутов ткани. Из всего, что можно найти в квартире, где живет бабушка-рукодельница. В очень старой квартире.

Яна взяла вещь двумя пальцами, будто вовсе не желая ее касаться, и прищурилась. Пушистые на вид серо-зеленые нитки, обрамляющие край, неприятно кололись. К этому ощущению полагались зима, метель, негнущиеся рукава искусственной шубки в крапинку, сползающая на глаза шапка. Намотанный выше носа шарф, покрытый влажной изморозью...

Нитки и веревки переплетались, налезали друг на друга, как щупальца. Но в этом хаосе была система. В нем был смысл, от которого холодело в животе и перехватывало дыхание.

– Это шарф? – Ирина всмотрелась в сложное плетение. – Вагабондский шик?

Яна помолчала, покачивая тряпкой.

– Это записка, – наконец неохотно ответила она.

– Узелковое письмо, что ли? – догадался Клочков. – Можешь прочитать?

– Имитация узелкового письма, – уточнила Яна. – Могу.

Она нервно провела ладонью по волосам. Любопытные взгляды коллег давили на лоб, как колючая жаркая шапка из мохера.

– Кто это принес? – спросила Яна.

– Мужик из библиотеки... нет, из архива... такой, с бородкой. Забыла, как зовут.

Держа шарф-послание наотлет, будто боясь запачкаться, Яна медленно спустилась на первый этаж. Здесь лестница раздваивалась. Несколько ступеней вело на задний двор. Кто-то оставил дверь распахнутой; в тяжелой и грубой железной раме под тусклой табличкой «Запасной выход» вскипали майские тополя. За радостным зеленым светом едва угадывалась лавочка, урна, высокая решетка университетской ограды, стайка гомонящих, как птицы, студентов. На лестницу тянуло табачный дым, золотой и сизый, отвратительный и притягательный, и бессовестно пахла сирень. В жесткой раме черного хода собралось все, о чем когда-то мечталось над детскими книжками с картинками под вой поздних апрельских буранов, все, что скрывалось за волшебным словом «материк» задолго до того, как оно наполнилось сухим географическим смыслом. Яна на мгновение замялась, нащупывая в кармане зажигалку и сигареты, и отвернувшись, зашагала все вниз и вниз по бесконечным ступеням, к подвальному промозглому холоду, тусклым лампам, неясным теням.

Архив не был заперт, но за дверью царил темнота. Лишь за стеллажами желтел свет фонарика; из-за какой-то оптической иллюзии казалось, что он горит в невообразимой дали. «Добрый день!» – крикнула Яна. Голос канул во тьму, как в черный войлок. В нос ударил запах старой бумаги, за которым угадывались нотки подкисшего молока, печного дыма, – округлый, чуть приторный аромат деревенского старушечьего дома, с коровой в хлеву и кружевными салфетками на подушках; а за ним – горькое сено, сладкие духи большеглазой аспирантки, нагретая солнцем волжская заводь, пролитый портвейн, рогоз... Здесь хранились полевые дневники.

– Есть кто-нибудь? – снова окликнула Яна. В ответ зашелестело, захлопало, – то ли страницами, то ли крыльями. Далекий свет фонарика дрогнул и начал приближаться. Вечность спустя из темноты выступил невысокий, чуть полноватый человек; пробормотав извинения, он шлепнул ладонью по выключателю настольной лампы. Яна прикрыла глаза ладонью, защищаясь от света.

Библиотекарь было, наверное, лет пятьдесят. Его лицо обрамляла темная растрепанная борода; выпуклые карие глаза за круглыми очками в тонкой оправе казались добрыми и беспомощными. Библиотекарь выглядел совершенно обыденно, и Яна спросила себя: что он делал там, в темноте, среди стеллажей, забитых неразборчиво исписанными тетрадями? Ее вдруг охватило острое чувство дежавю.

Библиотекарь ждал, спокойно улыбаясь, и Яна наконец очнулась.

– Вы принесли эту штуку на кафедру? – спросила она. Вышло грубо, почти агрессивно. – Извините... Мне передали... – Чертова тряпка жгла пальцы. Библиотекарь безмятежно моргал, по-птичьи наклонив голову набок. Она много раз видела этот доброжелательный взгляд, эту бородку, эти очки. – Я точно встречала вас раньше, – вырвалось у Яны.

– Конечно встречали! – улыбнулся библиотекарь. – Я очень давно здесь работаю.

– Да нет же, не здесь, – с досадой отмахнулась Яна. – Полевые дневники... – Она растерянно оглядела стеллажи, заполненные потрепанными блокнотами. – Так откуда у вас эта вещь?

– Кто-то оставил в читальном зале, – пожал плечами библиотекарь. – А я, зная о вашей нелюбви к библиотекам, довольно, кстати, странной при вашей-то профессии, – Яна дернула уголком губ, но промолчала, – занес на кафедру.

В этом простом рассказе была какая-то нестыковка, неуловимый логический провал, маскирующий неправду. Яна потерла лоб. Библиотекарь терпеливо ждал, все такой же спокойный и доброжелательный, все такой же мучительно знакомый.

– Просто занесли? – переспросила Яна.

– Просто занес.

– Странная история...

– Станные истории случаются, – кивнул библиотекарь. – Вам ли не знать.

Кратчайший путь к остановке трамвая лежал через задний двор. Оглянувшись на лестницу, – никто не смотрит, – Ирина вприпрыжку сбежала по последнему пролету и, шурясь на солнце, зашагала через обрамленный сиренью пятачок. «Цок-цок, тепло, цок-цок, ле-то», – выстукивали на чистом сухом асфальте каблуки. Подол плаща щекотно мел по коленкам.

Нигдеева ссутулилась на краю лавочки. Короткие волосы по-прежнему стояли дыбом, – она, как обычно, в задумчивости ерошила их обеими руками. Рыжие брови сдвинуты, веснушчатый лоб собрался в причудливые складки. Сигарета зажата в зубах, руки заняты шарфом-запиской: Яна наматывала его на запястье, сердито сдергивала и снова медленно оборачивала вокруг руки. И, как всегда, она сидела на лавочке одна. Остальные три скамьи были забиты курильщиками до предела – в такой день никто не торопился вернуться в аудиторию. Но к Нигдеевой никому и в голову не пришло подсесть.

Ирина в который раз удивилась, как эта невысокая щуплая женщина ухитряется занять собой столько места. Где бы она ни оказалась, вокруг немедленно начинали расползаться всякие мелочи, – какие-то блокноты, шарфы, початые бутылки с водой. Вещи Нигдеевой захватывали пространство, выставляли форпосты, очерчивали границы. Вот и сейчас на лавочке лежала пачка сигарет и стоял картонный стаканчик с вожденным кофе. Маленькие верные стражи.

Заметив коллегу, Нигдеева приглашающе махнула рукой. Ирина неохотно замедлила шаги. Она надеялась обойтись без утешений, но теперь это было неизбежно. Яна, спохватившись, подвинула сигареты и кофе, освобождая место. Стаканчик опасно качнулся, и Ирина сделала пируэт, спасая свой светлый плащ, – однако Нигдеева уже разобралась с руками, шарфами, сигаретами и подхватила картонку. На ее запястье выплеснулось две черные капли, и Ирина невольно поморщилась, заметив, как Яна машинально обтерла их о джинсы.

– Да ты не расстраивайся... – заговорила она, но Нигдеева перебила, взмахнув шарфом:

– А ты видела, кто принес эту штуковину? – спросила она. – Клочков уже убежал.

Ирина моргнула, сбита на лету. Штуковину? Алло, Нигдеева, твои студенты считают тебя людоедкой, а ты хочешь поговорить о какой-то штуковине?

– Мужик из архива, – осторожно ответила она.

– Да, да... – нетерпеливо отмахнулась Яна. – А ты уверена, что этот мужик – из архива? Ты его раньше видела?

– Конечно... Он сказал, что...

– Он сказал? – задрала рыжие брови Нигдеева, и Ирина прониклась сочувствием к ее студентам. «Черт бы тебя подрал, Вендига Александровна», – подумала она, а вслух сказала:

– С чего такая паранойя?

Яна поморщилась. Ирина почувствовала укол неприязни, осознав, что эта гримаса – преувеличенное отражение ее собственной. Как будто она не просто вытерла руку об штаны, а еще и высморкалась в рукав.

– Включи же голову, это простой вопрос, – все еще морщась, сказала Яна. – Ты видела его раньше? В архиве? В библиотеке? В кафешке, в очереди за булочками?

– Н-не знаю... Да что за допрос? – возмутилась Ирина. – Нигдеева, ты своих студентов в лицо не узнаешь, а к этому мужику прицепилась!

– Это аргумент, – кивнула Яна и снова принялась накручивать шарф на ладонь.

Опять подвисла, подумала Ирина и украдкой покосилась на калитку. Наверное, сейчас можно просто уйти – не заметит. Вместо этого Ирина спросила:

– А чего ты носишься с этой тряпкой?

Яна вздохнула, сунула дотлевшую сигарету в урну и тут же закурила следующую.

– Это, – она тряхнула тряпкой, – могли сделать три человека. Филька принес идею – вычитал в книжке про индейцев. Он у отца книжку взял... Я разработала словарь. Ольга научила нас вязать узлы. Это был наш тайный язык. Нам было по

десять лет.

– Может, кто-то пошутил?

– Сейчас? Мы не общались двадцать пять лет. Они остались в городе за семь тысяч километров отсюда. В хреновом городе, из которого не так просто выбраться...

– Понятно... – протянула Ирина. – А что не так с мужиком из архива?

– А то, что записку якобы оставили в читальном зале, а он просто занес. Вот так телепатически понял, для кого эта тряпка, и оказал любезность. А еще то, что в универе я его ни разу не видела, а вот раньше – точно да, хотя и не помню где. Когда до меня все это дошло – я вернулась в архив, поговорить нормально, а то он мне мозги запудрил, я ушла, ничего толком не спросив. Только вот архив оказался закрыт. Вообще закрыт. Замок в ржавчине и паутина на косяках висит...

– Нда, – выговорила Ирина. – Наверное, показалось. Или просто розыгрыш.

– И в каком месте должно стать смешно?

– Ну не знаю... А что там написано – раз уж это записка?

– «Возвращайся домой», – деревянным голосом ответила Яна, пропуская колючие петли между пальцами. – «Возвращайся домой. Возвращайся домой». И еще полтора проклятых метра «возвращайся домой».

Она казалась спокойной, но, сидя рядом, Ирина видела, что, несмотря на тепло, руки Яны покрылись мурашками. Это было странно, неадекватно, почти непристойно. Но что мы знаем о лисе? Кажется, Нигдеева упоминала изолированный городок на Дальнем Востоке, из которого ей пришлось спешно уехать. Непривычное уху название... Она сказала, что дословный перевод с местного языка – «плохая вода», и добавила, что местных там, впрочем, нет, – не дураки селиться в такой дыре. Отец-геолог... Ирина вдруг поняла, что практически ничего не знает о прошлом человека, с которым знакома больше десяти лет.

Нигдеева все перебирала в руках узлы. Отвратительное сухое шуршание пробирало до костей.

– Ненавижу такие нитки, – вырвалось у Ирины. – Даже название... мохер... бр...

– Я тоже, – кивнула Яна. – Фильке тогда здорово влетело за них... Хорошее слово – «влетело», да? Оно. Влетело. Само. Звучит намного лучше, чем «двое взрослых орали на десятилетнего пацана сорок минут за то, что он отмотал два метра пряжи». А потом запретили дружить с девочками, которые плохо на него влияли. – Она прерывисто вздохнула. – Беда в том, что ему больше не с кем было дружить. Понимаешь, он был толстый.

Мурашки на руках Яны стали крупнее, и на бледной коже резко выступили веснушки. Как брызги ржавой болотной воды. Внезапно Ирине захотелось попросить Нигдееву заткнуться, но она не смогла вымолвить ни слова.

– Наверное, поэтому он и пошел за мной тогда, в самом конце, – сказала Яна. – Зря он это сделал.

Ничего не хочу об этом знать, подумала Ирина. Нигдеева снова открыла рот, и Ирине захотелось завизжать, чтобы заглушить то, что она скажет.

– Ты примешь за меня пересдачу? Я хочу уйти в отпуск пораньше. Там всего четверо, вместе с этой девицей... Ей точно лучше тебе сдавать, она же со мной в обморок грохнется от неловкости, еще откачивать придется.

– Конечно, – быстро ответила Ирина. Она чувствовала себя так, будто в полуметре от нее с визгом и скрежетом затормозил грузовик.

Яна кривовато улыбнулась.

– Кстати, о студенческих байках, – ее глаза блеснули недобрым весельем, и затормозивший грузовик неуловимо качнулся, оживая. – Помнишь, я встречалась с парнем с биофака?

– Да, – настороженно ответила Ирина. – Славный такой.

– Да, он очень хороший, – легко согласилась Яна. – Я попросила сделать его тест ДНК, – она прикоснулась к костяному кулону на шее. – Хотела убедиться.

Грузовик взревел мотором, колеса пришли в движение, и многотонная машина мучительно медленно, неотвратимо двинулась вперед.

– Убедиться в чем? – спросила Ирина, уже зная.

– В том, что кость действительно человеческая.

Ирина демонстративно посмотрела на часы и встала.

– Тебе точно пора в отпуск, – сухо сказала она. – Пересдачу у твоих студентов я приму. Отдыхай, ни о чем не волнуйся.

Нигдеева молча ухмыльнулась в ответ.

2

Из-под синюшных казенных ламп, безжалостных, круглосуточных, отрицающих внешний мир, – в бледный ветреный полдень. Ольга застыла на крыльце, будто на мгновение потеряла вес, поплыла в этом невесомом, припыленном, забытом свете. Над городом О. дрожал запах робкой зелени. Ветер клеил на туфли липкие оболочки тополевых почек. На пятачке сухого асфальта у служебного входа распластались бродячие собаки, – лежали в полном довольстве, щурились, подставляли тощие животы тусклому солнцу.

Ольга облизнула сухие губы и с преувеличенной сосредоточенностью принялась натягивать куртку. Заметила стаю, поморщилась: беспорядок, надо сказать поварам, чтобы перестали уже подкармливать, куда годится, – и тут же забыла, отвернулась, отвлеклась, поглощенная каменной усталостью. Навстречу, шумно дыша и подволакивая ногу, поднялась обмотанная пуховым платком старуха, окинула цепким взглядом усталое Ольгино лицо, разношенные туфли без каблучков, приостановилась: «Доченька, Волоконов где лежит?» – «В регистратуру», – машинально ответила Ольга. Старуха неодобрительно качнула головой, прохромала мимо. За спиной грохнула, притянута мощной пружиной, дверь. Ольга согнулась, нащупывая замок молнии. Разбухшая сумка оттягивала

локоть. Глаза защипало; Ольга прижала к ним пальцы, с силой помассировала веки.

Сразу после полуночи снова привезли молчуна – на этот раз пятиклассника из Полинкиной школы. Припозднившийся с прогулкой собачник нашел его на окраине Японской Горки. Лицо мальчишки застыло в маску с иссиня-красным, неестественно ярким ртом. Но страшнее всего были его руки – сведенные судорогой когтистые лапы в синюшно-багровых пятнах. Увидев их, Ольга едва не завизжала. Дотронуться до них казалось невозможным, будто коснуться скользкой ядовитой жабы. Ольга суетливо семенила рядом с каталкой, стараясь думать о том, что до сих пор у молчунов не было проблем с кожей, и, может быть, это подсказка, может, теперь врачи наконец смогут понять, что происходит, но все вытесняла тоскливая мысль: сейчас придется прикоснуться к этой ладони, закатать рукав, найти вену на этой покрытой отвратительными пятнами руке. Здесь никакие перчатки не помогут. «Да придерживай», – сквозь зубы пробормотал санитар, когда каталку тряхнуло на разошедшемся шве линолеума. Ольга, сжав зубы, опустила руку на тощую мальчишечью ногу, облепленную влажными джинсами. Присмотрелась – на коленях темнели мокрые пятна, по которым расплывалось нечто лиловое; к ткани прилипли мохнатые кусочки мха-сфагнома, а чуть выше на бедрах виднелись широкие красные полосы.

Он вытирал руки об штаны, поняла вдруг Ольга. От стыда запульсировала кровь в ушах. Мальчишка стоял на коленях на едва отошедшей от снега, пропитанной черной торфяной водой мари и собирал в ладонь сладкую прошлогоднюю клюкву. Прихватывал редкие, уже безвкусные ягоды шикши с курчавых кочек, лопал горстями, пачкаясь соком. Болтал с набитым ртом со своими друзьями. Снова вытирал липкие от сока руки об штаны. «Адреналин...» – донеслось издалека. «Опять не поможет», – отозвался безнадежный голос. Ольга с хрустом стиснула челюсти.

Какое-то время – может, несколько минут – выпало из ее сознания. Когда Ольга пришла в себя, женщина в цветастом халате и сверкающих сапогах на шпильке трясла неподвижного молчуна, как сломанную куклу. «Угломоните ее кто-нибудь!» – рявкнула Верпална. Будто во сне, Ольга увидела в своей руке шприц. Ее руки сами усаживали, вскрывали ампулу, вытягивали поршень. Рот сам произносил ласковые бессмысленные слова, пока лошадиная доза транквилизатора вливалась в вену. Глаза женщины уже начинали стекленеть. Ольга, слегка расслабившись, подхватила проспиртованную ватку, но тут

женщина резко выдернула руку. Вывернутая из вены игла прочертила по нежной синеватой коже кровавую борозду. Ольга ругнулась сквозь зубы, попыталась ухватить женщину за рукав, но та уже подскочила к бледному бородачу, маячившему поодаль, с воплем залепила ему пощечину и попыталась вцепиться ногтями ему в лицо. «Я кому сказала...» – взревела Верпална. «Уже», – огрызнулась Ольга.

Теперь мать молчуна сидела над кроватью с таким же бледным и неподвижным, как и у сына, лицом. Отец остался в коридоре. Глаза у него были красные, как у кролика; он то и дело шумно сморкался в розовую, уже насквозь пропитанную соплями столовую салфетку, бормотал: «Простите, аллергия... на материк мне вообще никак...», а потом в который раз повторял: «Там и не искали... Кто бы его там искал... Что ему там делать...» У Ольги дрожали руки. Беда, еще вчера казавшаяся далекой и отвлеченной, подобралась совсем близко. Ее дыхание пахло сладкой торфяной водой, горячим железом, раздавленным листом багульника.

В кармане зазудел мобильный.

– Ну мам, – обиженно сказала Полинка.

– Я уже иду, подожди пять минут, – быстро проговорила Ольга.

– Ну мам, что ты вообще? Я что, маленькая?

– Я сказала – подожди, никуда не ходи одна, ясно?

– Ясно, – мрачно буркнула Полинка и нажала отбой.

Ветер бросил в лицо горсть холодного песка. Ольга поежилась и застегнула кнопки на воротнике. От стаи собак отделилась одна, самая крупная, остроухая, в неопрятных клочьях зимнего пуха на пышных штанах. Плавнo помахивая косматой дугой хвоста и улыбаясь во всю зубастую пасть, она уверенно двинулась вверх по ступеням. Ольга открыла рот, чтобы турнуть вконец обнаглевшую тварь, но не успела сказать и слова. Собака преданно заглянула Ольге в лицо и с шумным вздохом уселась ей на ноги.

Собачья задница была теплой и костлявой. Мослы, выпирающие через толстую шкуру, больно давили на ступни. Ольга нервно оглянулась по сторонам – не смотрит ли кто, – и легонько пихнула носком туфли в мохнатый зад. Тщетно: пес лишь энергичнее завилял хвостом. Выругавшись шепотом, Ольга осторожно потянула ноги из-под собаки, и левая туфля застряла, соскользнула со ступни.

(...она ошиблась, где-то ошиблась, наступила не туда. Прожорливо чавкает марь. Жадная торфяная жижа стягивает сапог. Протонула!)

Ольга, почти не дыша, принялась нащупывать пальцами ног, выцарапывать туфлю. Собака запрокидывала голову, пытаясь заглянуть Ольге в глаза, мела хвостом, и его кончик мягко толкал Ольгу в лодыжку. Остальные псы держались поодаль – сидели, смотрели, радостно скаля желтоватые клыки. Чего-то ждали. Туфля все никак не поддавалась, сминалась, заталкивалась все дальше в сплетение собачьих лап, – гнетущее, полуобморочное, вязкое, как в дурном сне, ощущение.

Наконец, когда Ольга уже почти отчаялась, нога вдруг легко скользнула в туфлю. Ольга тихонько выпустила воздух сквозь сжатые в трубочку губы, отступила на шаг, обходя собаку по дуге, и быстро пошла прочь. Добравшись до ворот больницы, она решилась оглянуться, надеясь, что стая снова развалилась на теплом пятачке, и тихо застонала: собаки во главе со своим костлявым вожакom неторопливо трусили следом. Стоило Ольге остановиться, и псы уселись полукругом, наострив уши, в полной готовности следовать за ней дальше.

Ольга неловко перекрестилась и, спотыкаясь, заторопилась к школе.

Хотелось побежать, но бежать было нельзя.

Идти было минут пять, не больше, но когда Ольга, срезав дорогу через дыру в заборе, вместе со своим тягостным эскортом добралась до школьного двора, Полинки там уже не было. Просторная площадка пустовала: уроки у первой смены кончились, у второй – еще не начались. Где-то вдали, приближаясь, выла сирена. Чуть подрагивала штора на широком окне в кабинете труда – кто-то стоял там, скрытно наблюдая за двором, и это было странно и неудобно. Хорошо еще, что собаки остановились на углу здания, где их никто не мог увидеть, – разлеглись на газоне вокруг люка, среди расцветших на прогретой земле

одуванчиков.

Один из псов шумно втянул носом золотистую пыльцу и смачно чихнул. Ольга сердито огляделась. У школьной ограды, обсаженной ольхой, терся мужик с круглой обрюзгшей физиономией и темными, слипшимися в перья волосенками, зачесанными поперек лысины. Одетый в старый коричневый костюм, который был ему великоват, и грязновато-бежевую рубашку, этот нестарый еще дядька казался неуместным, застрявшим в прошлом – и в то же время обиденным, как покосившийся забор. Что-то в нем вызывало безотчетную тревогу.

Присмотревшись, Ольга решила, что дело в руках: слишком белых, слишком гладких. Длинные пухлые пальцы шевелились, будто сплетая сеть; в этом беспрестанном движении было нечто отвратительное.

Вой сирены нарастал, и раздражение Ольги постепенно превращалось в панику. Воображение уже рисовало Полинку, скорчившуюся в позе эмбриона, Полинку с окаменевшими мышцами, с губами, вытянутыми в хоботок, с потускневшими прядями, спутанными с клочьями сухой прошлогодней травы. Воображение даже подсовывало место: за стадионом, между отполированными поколениями школьников гимнастическими брусками и кривой каменной березой, под которой раньше играли в ножички после уроков. Вокруг молча стояли старшеклассники; кто-то догадался вызвать скорую, но она не успеет, потому что к Полинке уже подошла собака и тихонько тянет за рукав, будто помогая подняться. А они молча смотрят, не пошевелив и пальцем, они не понимают, что происходит...

Ольга шатко двинулась в обход здания, не соображая, что делает, раздавленная ледяным булыжником, застывшим в груди. Сирена взревела совсем близко, но они не успевали, не могли успеть. Ольга безнадежно оглянулась, высматривая скорую.

У ворот мелькнула розовая курточка; серебристый рюкзак болтался на одном плече, как маятник, в такт прямым, стриженным до плеч волосам. Ледяной булыжник взорвался горячим гневным фонтаном. Даже по затылку Полинки было видно, что глаза у нее прищурены, а челюсть выдвинута. «Коза упертая», – раздраженно пробормотала Ольга. Прижала ладонь к ребрам, даже сквозь куртку чувствуя, как колотится сердце. Медленно вдохнула, выдохнула, дожидаясь, когда пройдет желание перегнуть дочь через колено и надавать по заднице.

Мужик, переминавшийся у ограды, ринулся Полинке наперерез. Девочка его не заметила – все ее внимание сейчас уходило на то, чтобы шагать к воротам: не быстро и не медленно, с вызывающе прямой спиной. Мужик летел на нее неуклюже и стремительно – сейчас схватит, собьет с ног... Она, задохнувшись, бросилась вперед.

– Ольга! – заорал мужик.

Ольга остановилась, будто налетев на стену, недоумевая, пытаясь поймать взгляд незнакомца, – да незнакомца ли?! Но тот смотрел только на ее дочь.

– Ну Ольга же! Подожди! – Он схватил Полину за руку. Та отшатнулась, сердито выдернула ладонь. – Да послушай же, что скажу, – с отчаянием проговорил мужик. – Я...

Его слова заглушило кваканье подлетевшей к школе полицейской машины. Белая с синим тачка лихо затормозила у ворот, из нее выскочили двое и бросились на незнакомца. Полинка шарахнулась, потеряла равновесие, – но Ольга уже добежала, обхватила, прижала ее к себе.

– Как-то быстро, – удивленно пробормотала она.

Мужик неумело отбивался. Рубашка вылезла из лоснящихся брюк, задралась, обнажив дряблый белый живот. По багровым небритым щекам текли слезы. Его уже волокли к машине – с неестественным остервенением, то и дело поддавая дубинкой под ребра. «Узнаешь, как детишек караулить, урод», – расслышала Ольга. Колени подкосились от запоздалого ужаса. Под рукой возмущенно вякнула придавленная Полинка.

– Это он? – спросила Ольга, с трудом разлепив пересохшие губы. – Он?!

Ее никто не услышал. Один из полицейских нацелился дать по распухшей морде, в зажмуренный глаз, из которого катилась крупная, как у ребенка, слеза, но другой, постарше, вдруг схватил коллегу за плечо, внимательно прищурился:

– Погоди... Это ж Искры Федоровны сын. Ну, который... – Он высунул язык набок и закатил глаза.

Первый неохотно опустил кулак.

– А, этот... А что он здесь делает-то?

– Да х... – Старший покосился на Полинку. – Кто ж его знает. Сбежал, наверное.

Ольга крепче сжала ладонь дочери.

– Пойдем, – одними губами проговорила она и потянула Полинку за руку.
Старший полицейский обернулся:

– Погодите уходить, у нас к вам вопросы будут.

Ольга покорно остановилась. Поинка взглянула на нее снизу вверх – удивленно, укоризненно. Ольге захотелось прикрикнуть на нее, встряхнуть за плечо. Если бы она послушалась, дождалась ее у входа в школу... А теперь у полиции к ним есть «вопросы», вот спасибо!

Задержанный робко приоткрыл глаза. Слезы оставили на его щеках блестящие, как следы улитки, дорожки. Он осторожно повел плечами, пытаясь высвободиться, и буркнул, глядя мимо полицейских на Полину:

– Мне сказать надо.

– Отстань от ребенка, извращенец.

Мужик стремительно залился алой краской; его уши стали бордовыми и казались почти прозрачными.

– Я не извращенец! – фальцетом выкрикнул он. – Сами вы!

– Угомонись, – младший легонько толкнул его в грудь, отбрасывая обратно к машине. – Что делать будем? – вполголоса спросил он. Старший пожал плечами. Нагнулся к Полинке:

– Он тебя обижал? Хотел увести куда-то?

Полинка замотала головой.

– Просто дурак какой-то, – презрительно процедила она.

Что-то теплое задело колено. Вздвогнув, Ольга посмотрела вниз. Вожак стаи, про которую она совсем забыла, уютно прислонился к ее ноге и с доброжелательным любопытством посматривал на людей, будто ожидая, что будет дальше. Ольга нервно дернула ногой, но в ответ пес только крепче прижался к ее бедру.

– Претензии имеете? – спросил полицейский Ольгу. В глаза он не смотрел – пялился на собаку, жавшуюся к ее ногам. Ольга молча замотала головой.

– Ложный вызов... – со странной надеждой протянул младший.

– Брось, из школы звонили, – с досадой оборвал старший.

– Мы пойдем? – робко спросила Ольга. Полицейский только махнул рукой.

– Кто это? – спросила Полина, когда они отошли.

– Откуда я знаю?! – рявкнула Ольга. Покосилась на дочь.

Та смотрела прямо перед собой – льдистый прищур голубых глаз. Сквозь холодный загар – и когда только успела, едва снег сошел – пробивался румянец. Вечно обветренные, обведенные розовым ноздри раздувались, тонкий прямой нос задрался вверх. Упрямая коза. Маленькое зеркало. Отражение в черной озерной воде.

– Не дуйся, – устало попросила Ольга. – Мне только твоих капризов сейчас не хватало.

Полина чуть заметно повела плечом.

– Он подумал, что я – это ты, – сказала она. – Псих какой-то.

– Просто перепутал тебя с другой девочкой. А может, притворялся. Я тебе запретила ходить одной, а ты? Не слушалась – и нарвалась на маньяка.

– Он не маньяк.

– Ты не знаешь.

– Конечно, знаю. Все знают.

Ольга промолчала. За спиной размеренно цокали по асфальту собачьи когти. Они уже подходили к дому – еще немного, и окажутся в квартире. В безопасности. Там накопилась куча дел, будет уже не до разговоров...

– Мы возьмем ее домой? – спросила Полина. Ольга споткнулась о бордюр, взмахнула рукой, ловя равновесие. Собака подалась в сторону, прижала уши.

– Не бойся, – сказала Полина. – Ко мне! Смотри, мам, какая она...

– Я не потащу в дом бездомную собаку, – отрезала Ольга. Полина замолчала, чуть выпятив губы. Опять...

Ольга с натугой потянула на себя железную дверь подъезда, обросшую чешуей старых объявлений. Оглянулась. Вожак стаи деловито укладывался в палисаднике прямо под окном ее кухни. Остальные подтягивались неторопливой трусцой, – тощие, ободранные, с внимательными желтыми глазами. Уходить они не собирались.

Она сдвинула в сторону тарелку с присохшими остатками утренней Полинкиной яичницы и высыпала картошку прямо в раковину. Вялые весенние клубни, давно проросшие, сморщенные, как задница старухи, подставленная под укол. Ольга принялась обламывать бледные спутанные ростки, остервенело, методично, один за другим. Вода подхватывала их и тащила к сливу; несколько штук уже забились в отверстия решетки и торчали из нее, как пальцы. Пальцы мертвеца. Пальцы молчуна, скрючившегося на больничной койке. Пальцы неопрятного толстяка, караулившего у школы. Он с детского сада ходил расхристанный, никогда не мог застегнуть рубашку на правильные пуговицы. Воротник вечно лез ему на уши.

Тупой нож скользнул по мягкой коже и впился в кожу. Ольга беззвучно вскрикнула, машинально лизнула ранку и брезгливо отдернула руку. От затхлого привкуса земли и старой картофельной кожуры ее едва не вырвало. Сделав воду похолоднее, Ольга сунула руку под кран. Боли почти не было, но что-то жарко толкалось в порез, мучительно отдаваясь в локоть. Ольга выключила воду и тяжело опустилась на табуретку, бессмысленно глядя на лаковую кровавую лужицу, медленно наливающуюся вокруг ранки. Руки тряслись. Почти незаметный тремор, появившийся еще во время дежурства, теперь превратился в крупную дрожь. Хотелось заплакать. Зарыдать в голос, не сдерживаясь, не думая о том, что скажут люди, не боясь напугать дочь. Уголки глаз горячо чесались; Ольга изо всех сил потерла их тыльной стороной запястья. В комнате пощелкивали клавиши старенького ноутбука: Полина с кем-то болтала. В который раз Ольгу захлестнул ужас перед ее отдельностью, отчаяние от того, что дочь, как ни старайся, не запихнуть в сумку на животе, как кенгуру, – отчаяние привычное, обыденное и всепроникающее, как сухой уличный песок.

Ольга тихо вышла в коридор. Феназепам был на месте – последний блистер, запятанный в самый маленький и неудобный карман сумочки. В нем оставалось всего две таблетки. Рецепт Ольга получила пять лет назад, во время развода, когда муж грозился отсудить Полинку и увезти с собой на материк, раз Ольга не хочет валить из этого проклятого города... Надо было валить. Надо было закрыть глаза на все эти полторашечки пива, после которых муж превращался в равнодушного незнакомца с отвратительной, слабоумной ухмылкой, и уезжать вместе с ним. Плюнуть на то, что родилась здесь, – в деревянном двухэтажном роддоме, продутом насквозь буранами, один-единственный младенец, орущий в пустой палате... Таких, как она, в О. было хорошо если пятеро на сотню. О. был городом приезжих. О. из последних сил цеплялся чахлыми корнями за бесплодный песок, прикрывающий налитые нефтью бездны. И Ольга любила его... потому что – кто-то ведь должен был его любить.

По таблетке на каждый день угроз, на каждый день, в который она прятала Полинку у знакомых. На каждый день, в который ей на голову выливалось новое ведро помоев из разъеденных ненавистью слов, привычек, поступков, всех тех мелочей, из которых состоит жизнь бок о бок, милых, как розовое брюшко щенка, и таких же беззащитных. Эти дни тянулись, как гнилые веревки, но в конце концов муж сел в самолет, летящий на вожделенный материк, и с тех пор Ольга его не видела. И Полинка, которую он так хотел вытащить из нефтяного болота, – тоже.

Тех дней оказалось не так уж и много: столько, сколько можно выдержать, и еще чуть-чуть. Еще неделю назад два непечатых блистера валялось на дне домашней аптечки. Ольга вспомнила о них, когда появился первый молчун. А теперь оставалось всего две таблетки, под окном лежали бродячие собаки, и сердце гулко толкалось в виски.

В комнате негромко засмеялась Полинка – зло и безрадостно. С кем она разговаривает? О чем? Медленно, будто лекарство уже подействовало, Ольга положила в рот таблетку, запила желтоватой водой из фильтра, который не справлялся ни с цветом, ни с торфянисто-металлическим привкусом. Постояла у окна, сжимая блистер с последней таблеткой в кулаке. Жесткая фольга больно врезалась в кожу. Из открытой форточки влажно тянуло сладко-горькими, липкими листочками ольхи, и где-то радостно вопили дети. Может, собаки ушли. Чтобы рассмотреть палисадник, надо было перегнуться через подоконник, но Ольга не собиралась этого делать. В потемневшую расщелину между домом и оградой детского сада напротив лезли клочья тумана – как будто кто-то вычесывал на ветру зимний подшерсток огромной мохнатой дворняги.

Ольга всхлипнула, выдавила из блистера последнюю таблетку и резко закинула ее в рот.

По телу разливался блаженный покой. Все еще пошмыгивая носом, но двигаясь уже плавно и расслабленно, Ольга бросила опустевшую упаковку в мусорное ведро. Блистер вызывающе поблескивал поверх накопившегося мусора. Ольга уже собиралась опустить крышку, но в последний момент остановилась. Выносить ведро было Полинкиной обязанностью. Она увидит упаковку. Ничего, конечно, не поймет, – но ее дружок Гугль знает все, и она наверняка его спросит.

Хорошо бы закопать упаковку поглубже, в уже пованивающие недра. Ольга, заранее кривясь, потянулась за резиновыми перчатками. В ее время дети делали, что им скажут. Они не подсматривали за родителями и не спрашивали лишнего. А если вдруг спрашивали – им можно было просто не отвечать...

Спасительное бряканье мусорного колокольчика показалось ей радостным и торжественным, словно перезвон с церковной колокольни. Машина уже стояла прямо под окном, темная и массивная, как катафалк. Жека, неуклюжий, негнувшийся в своем ватнике и сапогах-болотниках, в последний раз брякнул колокольчиком. Мусорщик высунулся из кузова, поджидая желающих вынести

ведра. Когда-то Ольге казалось, что он знает все тайны города, секреты и секретности каждого жителя О., и замирала от страха перед разоблачением каждый раз, когда подавала ему наполненное ведро. Потом она выросла и поняла, что мусорщику, как и большинству, нет дела до других.

Она то и дело пыталась перехватить ведро за ручку – но ручки снова не оказывалось, и тогда она прижимала урну к бедру. Гладкий пластик скользил по спортивным штанам, она подтягивала ведро повыше, раз, другой, а потом снова пыталась перехватить его за ручку – обычную ручку из толстой проволоки, с круглой деревяшкой наверху, за которую носят ведра все нормальные люди. Но ее там не оказывалось, лишь качалась какая-то дурацкая выпуклая крышка. Всего-то надо было спуститься с первого этажа и пройти десяток метров до машины, распахнувшей навстречу свои темные вонючие недра – но этот путь показался Ольге мучительным, как в дурном сне.

Черноглазый, чернобородый мусорщик протянул навстречу руки в лоснящихся рукавицах – как спасающий Бог на старинных фресках. Ольга, стараясь дышать ртом, рывком сунула ему ведро. По ее лицу стекал липкий пот, и казалось, что он пахнет помойкой. Мусорщик сдвинул с ведра крышку, едва заметно приподнял бровь. Ольге показалось, что она снова выбрасывает набитый трояками дневник. Хотелось бежать; но мусорщик уже отвернулся, одним ловким движением опустошил ведро – набитый мусором пакет выскочил с шорохом, будто взлетела стая испуганных птиц – и перегнулся через борт, возвращая ведро. Ольга судорожно обхватила его мокрыми ладонями. Улики были уничтожены.

За спиной жарко, влажно задышали, и Ольга медленно оглянулась через плечо. Вся стая была здесь. Они стояли полукругом, перекрывая дорогу, и единственным спасением от них было – запрыгнуть в кузов, к мусорщику, спрятаться под его защиту, в темноту чужих тайн. Ольга попятилась, отступая к машине, уже пыхающей сизыми выхлопами. Вожак подступил ближе, будто хотел загнать ее в помоечную пещеру, – ткнулся лбом в колено, шагнул мимо и с невозможной ловкостью запрыгнул в кузов. Машина рывкнула и медлительно покатила прочь.

Ольга постояла с минуту, дожидаясь, когда утихнет отвратительная дрожь в коленях, наблюдая, как мусорка проползает вдоль дома и скрывается за углом, как бежит следом за своим укатившим вожакom собачья стая. Потом прижала скользкое ведро к боку и, ссутулившись, побрела домой.

Под дверью она, изогнувшись, пошарила за воротом флиски, но под руку подворачивался лишь дурацкий, бесполезный крестик на тонкой цепочке. Ключа не было. Надежный, крепкий ботиночный шнурок, на котором висел ключ, все-таки порвался, и теперь домой не попасть до самого позднего вечера, пока...

Ведро выскользнуло из-под руки, и по подъезду дробно раскатился оглушительный, но какой-то ненастоящий грохот. Ольга, всхлипнув, поддала по урне ногой и привалилась к двери, зябко обхватила себя руками. Так и будет стоять здесь в тапочках, даже гулять не пойти...

Дверь резко ушла из-под плеча.

– Ты чего? – спросила Полинка.

Ольга выпрямилась. Провела по лбу, отодвигая лезущую в глаза челку. Нахмурилась. Подобрала ведро.

– Чего-чего! Опять мусорку проворонила! Мы же договорились...

– В смысле – проворонила? Я попозже собиралась вытащить, какая разница?

Ольга помолчала. Перед глазами стояли зеленые контейнеры, набитые полупрозрачными мешками, пустыми пластиковыми бутылками и пухлыми пакетами из супермаркета. Обычные контейнеры, которые давным-давно заменили машину, которые не надо было караулить, выслушивая звон колокольчика и к которым никто не ходил с ведрами.

Ольга дотронулась до ключицы, нащупала цепочку – на месте ли крестик.

– Надо нам в воскресенье в церковь сходить, – сказала она.

Полина равнодушно пожала плечами.

Самолет развернулся над широкой приграничной рекой и, подвывая винтами, двинулся на восток. Рассчитанный всего на полсотни пассажиров, он летел наполовину пустым. Как только закончился набор высоты, Яна натянула капюшон толстовки, подобрала ноги, прижалась лбом к холодному стеклу иллюминатора и, ословело моргая, уставилась на проплывающие внизу сопки. Третий перелет за тридцать часов. Пустая, звенящая от бессонницы голова, – ни заснуть, ни почитать, ни подумать. Белые вспышки под веками – как пятна бесплодного кварцевого песка среди темных до черноты зарослей кедрового стланика.

...Яна перебегает приподнятую на насыпь дорогу, идущую вдоль границы города. Надо успеть скрыться за линией гаражей – тогда ее не засекут из окна, и ей не влетит. Останется лишь пересечь вертолетную площадку – и окажешься в стланиках. Тайные тропы Яны проложены между кряжистыми стволами, зачесанными к земле вечным ветром, – здесь перелезть, там поднырнуть. Сладко пахнувшая марь, где ступать надо осторожно, чтобы не провалиться по колено, а то и по пояс, где куртины карликовой березы обозначают безопасные места. Торфяные кочки в кудрявой поросли белого ягеля и темной шикши. Маленькие корявые лиственницы с ветвями, растущими в одну сторону – от моря. Покатые бока невысоких сопки.

Полчаса спустя Яна выходит к берегу маленького озера, круглого, как зрачок. Вода в озере темная и прозрачная, словно крепкий индийский чай. Небо плавает в ней плоскими синими пятнами. У дальнего берега сопки расступаются, и между ними виднеется стальная полоса моря.

Ветер мягко трогает голую шею, по спине разбегаются мурашки, и хочется оглянуться. Поглядывая то на море, то на тропу, Яна отламывает веточку лиственницы, скусывает едва лопнувшие почки. Нежные иголки кислые на вкус, рот от них наполняется слюной. Яна выплевывает жесткую оболочку, возит по песку носком сапога, выводя бессмысленный узор. Белый искристый песок легко рассыпается под ногой, в нем мелькает оранжевое. Яна подбирает маленький сердолик. Присев на стланиковый ствол, жмурит правый глаз, левым смотрит сквозь камень на небо, на озеро, на море. Мир подергивается плотной рыжей дымкой. От испачканных рук пахнет смолой и ржавчиной, – теплый запах, обещающий солнце и жару, предвещающий лето.

Из-за кустов доносится сердитый голос Ольги; запыхавшийся Филька обиженно огрызается в ответ. Восторженно лает собака. Яна бросает камешек в разбухший

карман куртки. Сердолик звякает, смешиваясь с горстью уже накопившихся камней.

Ольга стремительным скользящим шагом выходит к озеру. Прямые пепельные волосы падают на прозрачные глаза. Растянутые спортивные штаны, постоянно покрасневшие, пошмыгивающие ноздри. Загорелое лицо валькирии, готовой вступить в битву. Холодная красота северной принцессы. Рядом с Ольгой молотит хвостом-поленом то ли Найда, то ли Мухтар, очередное остроухое существо, покрытое палевыми клочьями недолинявшего подшерстка.

Филька, пурпурный от усилий, плюхается рядом с Яной, и ствол стланика уходит вниз, почти ложась на песок. Яна машет руками, чтобы удержать равновесие. Филька, сердито сопя, стягивает сапог вместе с носком и, опасливо поджимая пальцы, ставит мокрую голую ступню на песок. Из перевернутого сапога льется струйка мутной воды.

– Протонул, – печально говорит Филька.

– Сам виноват, – фыркает Ольга. – Кто ж по мари бегают?

– А я тебе говорю, за нами следили! Прямо спину свербило...

Ольга раздраженно пожимает плечами. Яна отворачивается, покусывает кожицу на губе, глядя на море.

– Некому тут за нами следить, – говорит она, помолчав. – Нет здесь никого, кроме меня... нас.

– Ага, нет! А вдруг большие пацаны засекли? А вдруг... – Филька замирает, и его физиономия стремительно бледнеет. – А вдруг родаки? У бабушки инфаркт будет...

– Ты совсем дурак? – Яна крутит пальцем у виска. – Взрослые сюда не пойдут.

– Ты в прошлый раз все то же самое говорил, – сердится Ольга.

Филька, надувшись, шарит в сапоге и вытаскивает мокрый носок. Холодная вода капает на босую ногу. Филька отдергивает ее, теряет равновесие и плюхается задом на землю. Освобожденный стланик взмывает вверх, бьет его под колени, и Филькины ноги задираются выше головы. Ольга хохочет, хлопая себя по коленкам. Найда-Мухтар преданно заглядывает ей в лицо.

Филька неловко встает, стряхивает песок. Задирает рукав, открывая электронные часы. Филька ими страшно гордится. Яне кажется, что они похожи на собачий ошейник.

– Почему ты не передал Послание? – Она говорит именно так, с большой буквы.

– Ага, Послание! Если я еще раз нитки возьму, мне бабушка голову оторвет!

Ольга, кажется, не слушает. Сидит в обнимку с Мухтаром, почесывая ему спину и бока. Перебирает клочковатую шерсть. Пес щурится от счастья, вывесив мокрую атласную ленту языка. Яна с Филькой заворуженно следят за ловкими Ольгиными пальцами.

Ольга разжимает кулак. На ладони лежит светлый комок собачьего подшерстка.

– У бабы Нины есть прялка, – говорит она.

Десятилетняя Яна немеет от восхищения. Яна, которой за тридцать, Яна-фольклорист, содрогается от ужаса во сне. Взрослой Яне снятся колючие, как собачья шерсть, клочья тумана. Черная торфяная вода. Блестящие глаза Голодного Мальчика, черные, словно нефть, на побелевшем от боли лице...

Стюардесса провезла дребезжащую тележку с напитками; резкий звук выбросил Яну из дремы, как удар. Спросонья она попросила вместо воды томатный сок. Выпила без всякого удовольствия – пресный, слишком густой, не утоливший жажду. На прозрачных стенках пластикового стаканчика остался бледный зернистый налет. К тому соку, который она помнила, полагалось взять мокрой ложечкой соль, а потом булькнуть ее обратно в стакан с мутноватой водой. Они тогда летели в Анапу, – Яне было пять, и ее впервые вывезли на материк. Она смотрела в иллюминатор, удивляясь зелени сопот, – был конец мая, и в О. еще лежал снег, – а папа всю дорогу читал газету и курил, не глядя потряхивая сигаретой над пепельницей. В самолетах тогда были пепельницы.

Яна нащупала на подлокотнике крышку и после минутной борьбы сумела сдвинуть ее. На алюминиевых стенках открывшейся полости остались темные следы, и из нее до сих пор слабо пахло старыми бычками. Яна торопливо закрыла пепельницу и снова уставилась в иллюминатор. Справа и впереди дрожало тусклое марево, будто там плавился под бледным светом свинец. Она вдруг поняла, что это море – море встает впереди стеной, и самолет скоро врежется в нее, размазав по неодолимой преграде тонны искореженного металла и жалкую кучку мяса и мозгов. Яна сглотнула ставшую вязкой слюну и отвернулась.

По проходу еще раз прокатили тележку, собирая пустые стаканчики, и пассажиры потянулись в хвост, к туалету. Один из них, мосластый, здоровый как лось, мимолетно задержал взгляд на Яне, – завел глаза, вспоминая, где видел это упрямое лицо, эти острые конопатые скулы, – и тут же отвлекся, радостно гаркнул. За спиной слышались смачные, с прихлопом рукопожатия. Костлявый зад навис над креслом, и Яна вжалась в холодный пластик борта. В заднем ряду уже говорили о какой-то конференции, о докладе какого-то Зотова, который всех порвал, об этом здоровом, которого принесло аж из самой Москвы...

Мосластый пророкотал:

– А что Нигдеева не видно, неужели пропустил?..

Яна резко встала, едва не упершись лбом в его зад, процедила: «Позвольте» и на негнущихся ногах двинулась к носу. Заглянула за штору, отделявшую от салона каморку перед кабиной пилотов. Стюардесса неохотно отложила телефон, на экране которого пульсировали разноцветные шарики, и кисло улыбнулась.

Яне пришлось откашляться, прежде чем заговорить.

– Налейте, пожалуйста, минералки, – попросила она. Стюардесса кивнула, наполнила стакан.

– Все нормально? – чуть настороженно спросила она, протягивая воду.

– Да. Просто боюсь летать.

Стюардесса пристальной вгляделась в ее лицо.

– Хотите пакетик? – спросила она и вытащила стопку темно-серой вощеной бумаги.

От одного ее вида к горлу подкатило. Яна покачала головой. Стюардесса смотрела на нее с сомнением, будто ожидая неприятностей. Яна чуть развернулась, приподняла плечо, загораживаясь от этого испытующего взгляда, и принялась пить маленькими глотками.

Звякнул сигнал, и она вздрогнула от неожиданности, расплескав остатки воды. Стюардесса торопливо выдернула стакан из ее рук.

– Займите, пожалуйста, свое место, мы идем на посадку, – отчеканила она. Яна все стояла, полуприкрыв глаза и закусив губу. Стюардесса нервно оглянулась, будто ища поддержки, и повторила с нажимом: – Вернитесь на свое место!

Вернуться – как пес возвращается... Ольгины бродячие псы, лайкоиды цвета песка и глины, которые провожали ее в школу и встречали после уроков. Лайкоиды – папино словечко...

Идти в хвост снижающегося самолета было трудно, как в гору.

Мосластый так и не ушел: уселся напротив и теперь торопливо подгонял ремень под свой костлявый торс. Пристегнувшись, он ловко перегнулся через подлокотник в проход и назад, к своим знакомцам за Яниной спиной. Оживленно спросил, продолжая разговор:

– Так что там с архивами?

– Представь, – донеслось из-за спинки сиденья, – уже собрались участки под огороды продавать, и тут всплыло. Скандал! Под самым носом, чуть ли не в черте города! Такие запасы – и до сих пор не в разработке...

Самолет ухнул вниз, резко заложило уши. Яна вцепилась побелевшими пальцами в подлокотники; перед глазами поплыли пятна, яркие, как нарисованные голодным художником фрукты.

– Дай угадаю! – пробился сквозь гул враз просевший голос. – Месторождение Когги?

...Клеенка на обеденном столе разрисована невиданными плодами. Бок оранжевой груши потерялся на сгибе. Хвостик отсечен оставленной кухонным ножом царапиной. По краю полной тарелки – тускло-зеленая надпись «Общепит». Яна пробегает взглядом буквы с завитками, держа ложку навесу, оттягивая момент, когда придется проломить корку жира и зачерпнуть суп. Поле зрения слева ограничено газетой. Где-то за ней скрывается папа, – видны только бледные голые локти и рыжеватый вихор. Низко гудит газовая колонка. Форточка открыта, прохладный ветер с моря шевелит красные клетчатые занавески, подхваченные лентами. Слышно, как на помойке за домом скандалят чайки...

Яна опускает ложку, придавливает жир и разбухший рис, выцеживая жижу. Косится на пустую Лизкину табуретку. Неделию назад Лизку отправили на материк с ее бабушкой, но табуретка так и стоит на ящике. В поле зрения попадает рукав тети-Светиноного халата, – ярко-красного, простеганного мелкими ромбиками, едва достающего до колен. Яна поспешно отводит взгляд, подносит ложку ко рту. Застывший жир с крупинками фарша касается губ. От него пахнет луком и затхлой морозилкой. Яна через силу глотает, скорчившись над тарелкой. Короткие рыжие лохмы свешиваются на лицо.

– Ты доешь когда-нибудь? – спрашивает тетя Света.

Яна наклоняет голову еще ниже, торопливо зачерпывает гущу. Сует ложку в рот так быстро, что металл больно бьет по зубам, и тут же давится. На глазах выступают слезы.

– А ну быстро...

Коротко дребезжит дверной звонок, и Яна вздрагивает всем телом. Слева шуршит, складываясь, газета, справа мелькает красная ткань. В коридоре бубнят голоса. Яна поднимает голову и смотрит на раковину. Не успеть. В тарелке осталась только гуща, пропихивать ее сквозь слив слишком долго.

– Спасибо, разве что чаю, – говорит гость, входя на кухню.

Папа убирает ящик из-под Лизкиной табуретки, усаживает гостя – высокого, костлявого, больше похожего на старшеклассника, чем на настоящего взрослого. Тетя Света вынимает из хлебницы печенье, недовольно звенит ложечкой, размешивая сахар.

– Ну что вы, зачем же, – бормочет гость. Вертится, устраиваясь на Лизкиной табуретке.

Яна знает его. Его распределили в О. недавно, и папа зовет его Пионером. Говорит, что Пионер воображает себя хорошим геологом, а сам поля не нюхал. И сейчас папа щурится, как будто вот-вот засмеется, но Пионер сидит со страшно важным видом и ничего не замечает. Яне хочется, чтобы он ушел.

– Я, Александр Сергеич, вообще-то по делу, – говорит Пионер. Вытаскивает из кармана пачку скрученной в трубку бумаги, иностранной, сплошь покрытой иероглифами. Папа громко откашливается – «кх-кх!» – как всегда, когда кто-то делает глупость. Пионер безмятежно развязывает ботиночный шнурок, стягивающий бумажный сверток, и рассеянно берет печенье.

Яна вдруг вспоминает, что в большой комнате за диваном спрятан леденец, а еще – книжка, «Черная стремнина» Уильяма Денбро. Отпечатанная на серой газетной бумаге, с буквами такими мелкими, что они пляшут перед глазами, очень взрослая книжка. Яна не решилась бы взять ее, если бы не знала, что папе дали ее почитать на две недели и, значит, он не вспомнит о книжке еще дня три. Пока Пионер в гостях, папа с тетей Светой останутся на кухне; у Яны будет полчаса, а то и целый час.

Она не жуя заглатывает суп. Из тарелки летят брызги и тут же застывают на клеенке крошечными белесыми полушариями. Пионер загораживает ладонью свои иностранные бумажки, смотрит на Яну с недоумением.

– Ну что ты глотаешь, как гусь, – говорит тетя Света.

Яна замедляется. Часы над столом громко тикают, отъедая ее время. Пионер отпивает чаю, разглаживает ладонью иностранные бумажки.

– Помните, вы в субботник отправили меня на склад, таскать ящики с образцами? – говорит он. – Там был этот мужик... завскладом или архивом, ну

этот, на ворону похож... Он нашел ящик со старыми документами. Ну и я... – Пионер краснеет, – я позаимствовал. Я понимаю, такому место в музее, я, конечно, верну, но уж слишком любопытно. Я, знаете, не сразу пошел на геофак, сначала родители настояли, чтобы... – Папа чуть фыркает, и Пионер сбивается. – Ну, в общем, я немного соображаю по-японски, – смущенно говорит он. – И вот...

Он выбирает один из листов, сует папе под нос. Яна скашивает глаза: нарисованная от руки карта и похожие на паучков иероглифы.

– Это топографическая съемка района к северо-востоку от города, буквально в паре километров отсюда. И, похоже, там такие запасы! Мы больше занимаемся югом, к этим местам не присматривались...

Тетя Света со стуком опускает чашку на стол. Папа снова откашливается – кх-кх! – и Яне хочется провалиться под землю. Последний глоток – и можно будет встать из-за стола...

– Партия Алиханова, – говорит папа. – Слышал про такую?

Яна замирает, не донеся до рта ложку. Тихо выливает жижу в тарелку и зачерпывает снова, намного меньше, – не зачерпывает даже, а просто обмакивает ложку в суп. Делает вид, что глотает.

Пионер ерзает, словно края Лизкиной табуретки режут ему зад.

– Я... конечно.

Папа берет листок с картой, придавливает ногтем неровный кружок.

– Озеро Коги, – говорит он. – Здесь в восемьдесят третьем разбили лагерь. Оно не то чтобы нужно было, два километра от города. Но в первый день... – Папа пожимает плечами. – Погодка стояла – закачаешься. У нас такой, считай, не бывает...

Он замолкает, придавленный воспоминаниями. Яна ровно, как автомат, подносит ко рту пустую ложку; ее уши вытянулись и шевелятся от напряжения. Пионер, красный и потный, бессмысленно теребит порез на клеенке.

– У Соколова был день рождения, – говорит папа. – Родственники из Краснодара прислали канистру домашнего самогона, его дядька выдающийся самогон гнал. А Алиханов сам мариновал шашлыки, он был великий спец, уж не представляю, где мясо доставал...

Ложка предательски брякает о пустую тарелку, и Яна вжимает голову в плечи.

– А ты чего уши развесила? – набрасывается тетя Света. – Поела – иди. Тебя это не касается.

Яна встает, сует тарелку в раковину поверх стопки грязной посуды, открывает воду.

– Я сказала – иди отсюда! – повышает голос тетя Света.

Яна выскакивает из кухни, и дверь, притянутая резинкой на место, толкает ее под зад. Стекло, затянутое такой же красной, как на окнах, занавеской, громко дребезжит; Яна придавливает его ладонью, чтобы остановить звон. К счастью, на кухне слишком заняты гостем. Переведя дух, она прижимается ухом к стеклу. Пионер неразборчиво бормочет. Грохает по столу кулак. Яна шарахается от двери.

– Они не алкаши были! – орет отец. – Не смей рассуждать, ты их не знал! У Янки там, между прочим, мать погибла!

На кухне замолкают. Чиркает спичка, в щель тянет дымом. По столу шуршит тяжелая стеклянная пепельница.

– Объели их, – говорит папа. – Соколова по шраму опознали. Марьянке моей... ноги... живот, – он прерывисто вздыхает. – Забудь про эти бумажки: есть там нефть, нет, – никому нет дела. Не лезь. Месторождение Когги... тоже мне...

– Месторождение Когги, тоже мне, – сказал постаревший, поросший бородой Пионер.

Яна сглотнула колющий ком, перекрывший горло. В иллюминаторе мелькнуло сквозь клочья тумана разлапистое озеро. Самолет припал на одно крыло,

встряхнулся, как мокрый пес, и нацелился на короткую полосу, окруженную стлаником.

4

Филипп шел домой.

Он всегда следил за собой, одевался прилично и никогда не ходил растрепанным. Довольно сложное, между прочим, дело для человека, который не может посмотреть в зеркало, но Филипп старался, не распускал себя. Даже на этой пустынной дороге ему было стыдно за свой вид. Его ботинки, его костюм и рубашка – все осталось на запертом складе санатория. Взамен Филиппу выдали серую фланелевую куртку и пижамные штаны, слишком короткие, чтобы скрыть тесемки кальсон. Эти кальсоны и рубашка на завязках вместо нормального белья превращали его в пришельца из рассказов Чехова, который был бы смешным, если бы не был так отвратительно жалок. Краденые кроссовки, заношенные до состояния каких-то онучей (Филипп не знал точно, что такое онучи, но предполагал, что они выглядят именно так), оказались велики на несколько размеров. Пришлось распотрошить гляцевый журнал из приемной, чтобы забить бумагой лишнее место. На одной из страниц оказалась реклама навороченных электронных часов. Филипп видел эти часы в интернете и знал, что в них есть даже глубоко-метр. Он позволил себе секунду полюбоваться ими, прежде чем решительно затолкал лист в носок кроссовка. Жесткие сгибы гладких страниц уже натерли ноги до крови.

На лацкане куртки застыл шмат овсянки. Пятно, навевающее неприличные мысли, маячило на периферии зрительного поля, мозолило глаза, и в конце концов Филипп остановился и скосил его ногтем. Рискнул постоять еще пару минут, чтобы отдышаться. Пот катил по лицу, жидковатые волосы, которые давно пора было подстричь, прилипли ко лбу. Камуфляжная куртка, позаимствованная в будке охранника, оказалась слишком теплой для этого почти летнего дня. К тому же она воняла табачным перегаром и спитым кофе. Филипп снял ее и прицелился забросить в кусты. Ледяной ветерок тут же вкрадчиво скользнул по шее, обещая – ангину, воспаление легких, менингит. Филипп со вздохом просунул руки обратно в рукава.

Надо было идти, пока в санатории не спохватились и не выслали погоню. Это мама так говорила – «санаторий» – и печально поднимала красивые брови-

ниточки.

...В августе мама говорит: его снова не взяли в школу для одаренных детей в Новосибирске – не дотянул совсем чуть-чуть, надо было больше стараться. Уже три весны подряд они с мамой и бабушкой торжественно садятся за круглый, покрытый кружевной скатертью стол. Его называют обеденным, хотя за ним никто никогда не ест; он стоит в самом темном углу комнаты, зажатый с одной стороны – маминой кроватью, а с другой – стеллажом с книгами. При свете настольной лампы с абажуром узорчато-матового стекла они втроем разбирают тетрадные листочки с сочинениями, диктантами, контрольными по алгебре и геометрии – только теми, за которые бабушка поставила пятерку. Выбирают самые лучшие, самые правильные, написанные без единой пометки. Вкладывают в конверт – не простой, а с короткими диагональными полосками по краям, красными и синими, с надписью «авиапочта». Мама аккуратно подписывает адрес; разбухший конверт получается мягким, наконечник ручки погружается в бумагу, и буквы выходят четкие, почти рельефные. Филипп облизывает марки (сладковатый клей отдает грибами, и губы еще долго остаются липкими) и передает бабушке, чтобы она приклеила их ровными рядами – целый выводок десятикопеечных и даже одну за пятьдесят. Конверт торжественно опускают в мамину сумку, чтобы она отправила его с работы специальной курьерской почтой, и бабушка с таинственной улыбкой скрывается на кухне. Вскоре оттуда доносится грохот старой кофемолки, сминающей сахар в пыль, а потом – шипение и шкворчание кипящего масла: бабушка готовит хворост, хрупкий и хрустящий, как сухие листья, весь в сыпучей сахарной пудре, бесконечно вкусный.

Надо просто хорошенько постараться, говорит той осенью мама, и весной они попробуют снова. Уж на этот раз все получится, – и представь, как обрадуется папа! А пока Филипп и дальше будет учиться дома. В первый момент он даже рад: ему хочется снова ходить в школу, как все, но... как там будет, в огромном городе на материке, в спецшколе, куда со всего Советского Союза собирают самых умных, самых талантливых? Вдруг он не потянет, съедет на двойки? Вдруг его снова будут дразнить жирным? Хуже того – вдруг одноклассники узнают, что он... ну, лежал в санатории? Это – трусливая, стыдная радость, и он скрывает ее за притворно опечаленным лицом.

Бабушка качает головой, и тайное облегчение от отсрочки исчезает без следа. Высокий, отливающий черной медью шиньон плывет под самым потолком – туда... обратно. Узкие бабушкины губы вздрагивают, сжимаются в бордовую нитку; резко проступают морщины вокруг рта. В них затекла помада – как будто

тонкая красная сетка сплелась вокруг губ. Филипп думает, что он мог бы прочесть ее, расшифровать узлы и понять про бабушку что-то очень важное, то, что она всегда скрывает. Это плохие мысли: привычка писать и читать узелковые письма – баловство, почти хулиганство, а у бабушки нет и не может быть никаких тайн.

...Осень в том году разваливается на куски. Уже в начале сентября ледяной ветер со свистом и гиканьем врывается на городские улицы, завывает в рамах, которые не успели заклеить, гудит в щели под запертой дверью папиного кабинета. Ветер обдирает с деревьев листья, и только лиственницы горят оранжевыми факелами на фоне бездонного фиолетового неба. Но и они держатся недолго: следом за ветрами приходит пахнущий гнилыми водорослями туман, и факелы превращаются в тусклые лампочки, едва освещающие серую муть. По утрам Филипп корпит над учебниками или пишет контрольные под присмотром бабушки. По такому случаю она всегда переодевается: халаты из шелка, привезенного еще прадедушкой Филиппа из Китая, черные и синие, разрисованные волшебными птицами и цветами, сменяют строгий коричневый костюм и блуза с белым воротничком. У бабушки даже есть указка, которой она нетерпеливо постукивает по столу, когда Филипп отвлекается. Сразу видно, что она была директором – у нее все ходили по струнке, и не в простой школе, а (для чокнутых, школе для дураков, скажи спасибо, что она тебя туда не отправила) в специальной. Получается почти как в настоящем классе – если бы не растоптанные тапочки на отекающих бабушкиных ногах.

После обеда наступает блаженное время: до возвращения мамы с работы еще далеко, а бабушка уходит по магазинам. Иногда, правда, приходится идти с ней, – когда в центральном выбрасывают дефицит, и надо стоять в злой, растревоженной слухами очереди. Зажатый толпой, Филипп задирает голову и втягивает живот, но все равно получает то локтем по затылку, то авоськой, набитой кефирными бутылками, под дых. Здесь толкаются и кричат, и бабушка толкается и кричит вместе со всеми, дергает Филиппа за руку, пропихивая вперед, чтобы никто не пролез вперед, рывкает: «Ребенка топчете!» Это так не похоже на нее, так неинтеллигентно, что Филипп сгорает от стыда. Часто рядом оказываются его бывшие одноклассники, и это хуже всего. Обзывать при взрослых его не решаются, но Филипп и так знает, о чем они думают. Жирный. Псих. Нюня. С бабушкой за ручку ходит.

Наконец подходит их очередь. У прилавка пахнет размороженной рыбой, сырым мясом, чем-то кисловатым, чем-то округло-молочным – упоительно и гадко.

«Триста грамм на руки», – равнодушно бормочет продавщица. Бабушка подпихивает Филиппа в поясницу; тот вытягивает ладони: вот они, еще одни руки, – и приподнимается на цыпочки, хотя его уже давно видно из-за прилавка. Продавщица сердито кромсает бежевую, в белых кружочках жира колбасу и бросает ее на весы, застеленные рыхлой серой бумагой. Бабушка забирает клочок все той же серой бумаги, заляпанный жирными отпечатками, с ценой, неразборчиво написанной карандашом, и они с Филиппом идут в очередь в кассу.

Но обычно бабушка ходит по магазинам одна, и в это время Филипп может делать что хочет. Чаще всего он выбирает книгу – лучше уже читанную, обещающую привычное и гарантированное удовольствие – и идет на кухню. Достает из холодильника оладьи с безвкусным вареньем из розовых лепестков или фейхоа, которым почему-то заставлены полки во всех магазинах города О., или мажет маргарином печенье и складывает его в бутерброды. Если ему везет, то в хрустальной вазочке на столе лежат конфеты «Загадка» с коричневой начинкой, от которой слегка щиплет язык, если есть их медленно, смакуя. Но обычно там пылятся лишь «морские камешки», тусклые, жесткие и скучные, как сухая школьная акварель. Иногда Филиппу хочется соленого. Брать без спросу с боем добытую колбасу или сыр он боится, но и кусок черного хлеба, политый пахучим подсолнечным маслом и посыпанный солью, неплох. Обычно Филипп съедает два или три.

Зачитавшись, он встает коленями на табуретку, упирается локтями в стол и машинально кусает бутерброд, не замечая, как масло капает на страницы. Всадник без головы мчится сквозь прерии. Птицы вспыхивают налету, и мирная зеленая долина вспухает чудовищным взрывом. Пьяный натуралист в обнимку с гордым черным королем в десятый раз пересчитывает ступени виллы. Женщины слетаются на бал – голые женщины, одетые в одни только туфельки. Некоторые вещи читать и сладко и страшно, и частью сознания Филипп прислушивается – не заскрипит ли в замке ключ, не застанут ли его за этими, самыми стыдными и заманчивыми страницами.

По вторникам же и четвергам, едва бабушка закрывает дверь, он залезает на свой письменный стол, стоящий вплотную к окну, прижимается лбом к холодному стеклу и начинает ждать. Электронные часы на запястье беззвучно отсчитывают последние минуты до трех, и чем меньше остается этих минут, тем более душным и спертым становится воздух в комнате. Щели в оконных рамах плотно заткнуты серовато-желтой, с крапинами и прожилками ватой. Без двух

минут три Филипп начинает ковырять ее ногтем, вытаскивает целые полоски, спохватывается, вслепую заталкивает их обратно тяжелой металлической линейкой, оставляя глубокие царапины на белой краске, а потом вытаскивает снова. От батареи накатывают волны жара.

Ольга появляется минут через пять – с огромной картонной папкой под мышкой и ранцем, небрежно наброшенным на одно плечо. Папка неудобная, ранец – тяжелый, но Ольга никогда не надевает обе лямки – и идет легко и прямо, уверенно ступая в густые, как какао, лужи. Куртка, когда-то достававшая почти до колен, теперь едва прикрывает поясницу, и из коротких рукавов торчат костлявые запястья. Ольга проходит под самыми окнами Филиппа, и со своего второго этажа он хорошо видит, что руки у нее красные и огрубевшие от холода. Иногда он представляет, как украдет у бабушки пряжу и свяжет – не варежки, нет, а красивые, тонкие перчатки, как у взрослых. Однажды Ольга зайдет за ним – позвонит в дверь, и, когда он откроет, она будет стоять, небрежно привалившись к стене подъезда и щуря светлые глаза. Коротко бросит: «Выйдешь?» – и он скажет, что конечно, только подожди минутку... И вынесет ей перчатки. Или хотя бы варежки – он точно сумел бы связать варежки. И даже вышить на них узор.

Но Ольга презирает варежки и больше не заходит за ним. Она стремительно проходит мимо и никогда не поднимает голову, чтобы взглянуть на его окно. Старая коричневая юбка колоколом бьется над коленями. Красные резиновые сапоги, такие яркие, что светятся в тумане, как фонарики, взламывают отражение тумана в глади луж. И сама Ольга – как тонкая полоска солнца, пробившаяся сквозь плотно задернутые шторы. Иногда она не проходит под его окном в пять минут четвертого, иногда даже в десять – и Филипп замирает от страха и сладкого предвкушения. Еще через пару минут Ольга все-таки появляется. В эти дни она бежит – и невыносимо смотреть, как она летит по ухабистой дорожке, как метет по скользкому болоньевому воротнику светлый хвост, как мелькают такие длинные ноги, – невыносимо горько на все это смотреть: промелькнула – и нет ее.

В один октябрьский вторник Ольга не появляется ни в три пятнадцать, ни в половине четвертого. Нет ее и в четверг, и через неделю. Изнывая от тревоги, Филипп дожидается следующего четверга – может, заболела? Все иногда болеют, это проходит, сегодня она появится... Но дорожка пуста.

В четыре часа Филипп слезает со стола и медленно идет к бабушкиному комоду, на котором стоит телефон. Мысли ворочаются тяжело, как набитые мукой мешки. Он сует палец в отверстие диска, набирает двойку – и замирает. Морщит лоб от усилий. Какая следующая цифра? Пятерка? Нет, пятерка – у Янки... Филипп нервно смотрит на часы. Мама вернется еще не скоро, но бабушка может прийти в любой момент. Он выходит в коридор, прикладывает ухо к входной двери. В подъезде тихо. Не визжит тугая пружина, не гремит дверца почтового ящика, не слышится тяжелое дыхание на площадке, где бабушка обычно набирается сил перед последним лестничным пролетом. Филипп возвращается в комнату и решительно дергает верхнюю ручку комода. Ящик легко, будто только этого и ждал, выскакивает из пазов и рушится Филиппу на ноги. По полу с грохотом катятся пахучие пузырьки с корвалолом и мазью Вишневского. Веером рассыпаются упаковки таблеток, квитанции, носовые платки. Филипп бросается догонять особо шустрый пузырек, успевает перехватить его за секунду до того, как тот укатится под бабушкин диван, под который не пролезет и кошка. Обмирая и прислушиваясь, сгребает лекарства и бумаги в ящик. Все безнадежно, все ложится как попало, бабушка обязательно поймет, что он здесь рылся...

Наконец под руку подворачивается то, что он искал: телефонная книжка в зеленой дерматиновой обложке, с затертыми золотыми буквами, в которых едва угадывается год (1976, год его рождения), слово «съезд» и несколько римских цифр. Громко сопя, Филипп откладывает блокнот в сторону, поднимает ящик, прижимая его к животу. От удара о пол фанерные стенки разошлись, и Филипп успевает вспотеть, пока заталкивает ящик обратно в пазы. Он встает криво и никак не задвигается до конца. Охваченный паникой, Филипп уже хочет вогнать его на место ударом кулака – и будь что будет, скажет, что не знает, что случилось, может, пронесет, – но обнаруживает, что сжимает в руке телефонную книжку, и вспоминает, зачем затеял обыск. Блокнот классный, с вырезанным по краю страниц оглавлением, и долго рыться в нем не приходится. Вот она – М, Мо, Молчанова Анна, Ольгина мама...

Номер телефона зачеркнут. Густо-густо зачеркнут синей шариковой ручкой, толстой и подтекающей, как у третьеклашки-второгодника. Филипп понимает, что остался один.

Голодный Мальчик приходит на следующее утро.

Едва открыв глаза, Филипп догадывается, что туман, уже месяц ползущий по городу, за ночь превратился в нечто большее – отвратительную скользкую тварь, полумразумную протоплазму. Он навалился свинцовым брюхом на дом и выдавил окна; он проник в квартиру и теперь медленно переваривает все, до чего может дотянуться.

Привычная какофония с кухни звучит так, будто не касается никого в этом мире: гудение газовой колонки, запах жареной колбасы в белых кружочках сала, шипение яичницы, бряканье посуды, – все приглушенно, блекло, будто понарошку. В предрассветной темноте проступает светлый силуэт бабушкиной кровати: острая складка на покрывале, пышно, уголком поставленные друг на друга подушки под кружевной накидкой. Туман растворил мир, оставив лишь тусклый остов, – но мир этого не замечает. Надо вставать; вместо этого Филипп поворачивается лицом к стене, натягивает на голову тяжелое одеяло и снова закрывает глаза.

В комнате вспыхивает безжалостный свет, и Филипп крепче сжимает веки.

– Подъем, лежебока! – говорит бабушка. – Имей совесть, уже половина восьмого!

Она сдергивает с него одеяло. Филипп мычит, пытается ухватить ускользающий край, но бабушка проворней. Он поспешно садится, обхватив себя руками.

– Шагом марш в ванную, – говорит бабушка. – У нас сегодня диктант.

Кое-как добравшись сквозь заполонивший квартиру серый кисель до ванной, Филипп долго плещет в лицо водой – такой горячей, что руки от нее краснеют, как ошпаренные. Когда он вытирает лицо жестким полотенцем и открывает глаза, туман немного рассеивается – настолько, что становится видно тонкую трещину в раковине, похожую на западное побережье Африки. Ровный поток желтоватой от торфа воды чуть спотыкается на ней, теряя совершенную плавность, и от этого сбоя привычно-противно зудит в межбровье. Филипп тянется за зубной щеткой и мельком заглядывает в зеркало.

Наверное, Голодный Мальчик был там все время, пока Филипп умывался. Стоял за тонкой преградой стекла, ухмыляясь большим щербатым ртом, – только по этой ухмылке Филипп его и узнает. На Голодном Мальчике растянута майка; его физиономия превратилась в желтоватый лоснящийся блин, а на двойном

подбородке белеют головки прыщей. Когда-то острые локти скрылись под складками плоти. Ноздри приплюснутого носа трепещут.

– А что у тебя на завтрак? – жадно спрашивает Голодный Мальчик.

Филипп тихо кладет зубную щетку в стаканчик и плавно отступает от зеркала. Закрывает глаза. Снова открывает. Голодный Мальчик стоит в зеркале: на пару лет повзрослевший, разжиревший до бесформенности, но по-прежнему голодный. Очень голодный.

Филипп плотно сжимает ляжки, чтобы не обмочить трусы, и тихо всхлипывает. Туман застилает глаза; мир сжимается до мутного пятна, в котором плавает Голодный Мальчик. Зеркало старое; от влаги амальгама в нижнем правом углу отстала от стекла, и из-за этого кажется, что рука Голодного Мальчика над локтем, как раз там, где остались шрамы от удара ножом, тронута темными пятнами разложения. Наверное, сегодня утром туман настолько загустел, что стало можно зацепиться за него, застыть в его гуще, как комочек в киселе. Наверное, Голодный Мальчик сумел прилепиться к туману, когда его набухшее вязкой влагой брюхо трамбовало озеро по пути от моря к городу.

– А хлеба с колбасой можешь вынести? – спрашивает Голодный Мальчик и быстро облизывает губы. – Хоть серого? Или с постным маслом хотя бы? Очень кушать хочется, неважно что.

Филипп, покачнувшись, приваливается к двери. Грохот горячей воды, хлещущей из крана, становится оглушительным. Горло царапает задавленный визг. Колени подгибаются; он медленно сползает на пол, цепляясь ногтями за косяк. Туман забивается в горло тошнотворным сухим комком с привкусом меди, а живот кажется огромным и горячим, как дирижабль в тонкой, словно мыльный пузырь, оболочке. Филипп знает, что сейчас Голодный Мальчик вышагнет из зеркала. Его дыхание будет пахнуть тлеющей под раздавленным окурком хвоей, отравленной нефтью рыбой, мокрой псиной. Туман затопит мозг, а потом его завеса отдернется – и станет видно то, что за ней. То, что он не хочет видеть.

Опора из-под спины исчезает, и Филипп валится назад. Он успевает подставить ногу, упереться в противоположную стену узкого коридора. Сквозь грохот крови в ушах доносится слабый возглас бабушки. Филипп захлопывает дверь в ванную.

– Опять намываешься! – говорит бабушка. Чувство любви и облегчения, захлестнувшее Филиппа, так сильно, что от него горячо глазам. Легкие работают, как огромные мехи, и, кажется, их слышно на всю квартиру; он задерживает дыхание, но воздух вырывается из горла короткими, резкими толчками. – И не надо мне тут вздыхать! – сердито говорит бабушка. – Завтрак остывает.

– Сейчас, только в туалет схожу, – бормочет Филипп, глядя в пол. Живот по-прежнему кажется раздутым и беззащитным.

Стоя над унитазом, он настороженно прислушивается сквозь журчание струи к звукам, доносящимся из ванной. Вот скрипнула дверь. Он напрягается, но не слышит ничего, кроме бабушкиного ворчания. «Не мальчик, а наказание», – отчетливо выговаривает она. Филипп знает, что речь идет о нем, а не о том, другом мальчике. Вода в трубах вскрикивает диким голосом и замолкает, когда бабушка перекрывает кран.

– Когда ты научишься выключать воду, Филипп? – громко спрашивает она. – Хватит отсиживаться!

– Иду, – говорит он, не двигаясь с места. Надо дожидаться, когда бабушка уйдет из коридора – иначе погонит мыть руки. А заходить в ванную он больше не собирается.

Несколько дней он считает, что решил проблему. Как и бывшие одноклассники Филиппа, Голодный Мальчик не лезет к нему при взрослых, а когда бабушка уходит, Филипп тут же запирает ванную на шпингалет. Заполонивший квартиру туман проник под череп, думать трудно, но, кажется, план работает. У Филиппа появляется привычка с силой елозить языком по зубам, чтобы стереть неприятно шершавый налет; в эти моменты бабушка отрывается от вязания и бросает на него взгляд, в котором сквозят недовольство и легкое беспокойство. Да и мама посматривает на него с более пристальным, чем обычно, вниманием. Филипп привык засыпать под тихое позвякивание спиц и постукивание печатной машинки – по вечерам бабушка обычно вяжет под торшером, а мама работает над своими очерками. Но теперь чаще слышно, как они сердито перешептываются о чем-то на кухне. Если напрячь слух, можно разобрать, о чем они спорят, но Филипп нарочно этого не делает. Он чувствует странную настороженность, пронизывающую туман мохнатыми, туго натянутыми ядовито-желтыми нитями, но в общем все вроде бы идет хорошо.

Так Филипп думает до того вечера, когда за ужином мама, едва усевшись за стол, начинает потягивать носом и недоуменно поднимать брови. Проглотив несколько кусочков жареной картошки, она откладывает вилку с ножом, прижимает к губам салфетку, глядя прямо перед собой. Мочки ее ушей розовеют.

Внимательно рассматривая журнальную репродукцию рериховских «Заморских гостей», висящую над обеденным столом, она говорит:

– От тебя дурно пахнет, Филипп. Когда ты в последний раз принимал душ?

Стены кухни, покачнувшись, раздвигаются, расплываются в невообразимой дали и выси. Филипп шевелит губами, но не произносит ни слова. Сквозь обморочную пелену слабо пробиваются мамины слова:

– Впрочем, не хочу даже знать. Немедленно после ужина отправляйся в ванную. И не забудь хорошенько почистить зубы. Мама, будь добра, проследи за ним. – Бабушка кивает, поджав губы. – Нет, лучше иди прямо сейчас, доешь позже. С тобой невозможно находиться в одном помещении.

Филипп по-прежнему окаменело сидит над тарелкой, не в силах даже дышать, и мама наконец поворачивает голову.

– Иди, Филипп. И забудем об этом неприятном эпизоде. Ну, живо! – Она легонько хлопает ладонью по столу. Подпрыгнувшая вилка звякает о тарелку, и Филипп вздрагивает всем телом.

– Не пойду, – беззвучно шепчет он.

– Что?

– Не пойду, – повторяет он. – Не хочу больше мыться.

– Что за нелепый каприз, – удивляется мама и беспомощно смотрит на бабушку.

– Ну, хватит, – говорит та и отставляет в сторону свой чай (по вечерам она обходится чашкой чая без сахара). Крепко берет Филиппа за локоть. Тянет его вверх, и Филипп цепляется ногами за ножки стола. – Да что ж это такое! – восклицает бабушка и тянет сильнее. Филипп, набычившись, изо всех сил вжимает зад в табуретку.

– Какое безобразие, – с отвращением говорит мама. – Да ты умрешь, что ли, если сходишь в душ?

Филипп задумывается.

– Наверное, да, – через секунду-другую отвечает он, и мама всплескивает руками от возмущения.

– Прекрати дерзить!

Вдвоем они сдергивают его с табуретки. Стол с мерзким скрипом сдвигается, и Филипп, подогнув колени, плюхается на пол. Его пытаются волоочь – но он слишком тяжел для своих лет.

– Ты ведешь себя абсолютно неприлично, Филипп, – устало говорит бабушка, ослабив хватку. – Не вынуждай нас...

– Да отстаньте вы от меня! – визжит он, не дав ей договорить.

– Как ты смеешь? – вскрикивает мама, задохнувшись, и крепко хватается за волосы. Филипп вякает от боли, пронзившей скальп, и приподнимается, чтобы ослабить натяжение, но мама уже выпустила его вихры и теперь брезгливо вытирает руку о полу халата.

Филипп снова тяжело оседает на пол, и его локоть выскользывает из бабушкиной ладони. «Отстаньте! Отстаньте!» – вскрикивает он сквозь слезы. Мама и бабушка нависают над ним, как скалы, в ущелье тесной кухни. По неуловимому шелесту воздуха он чувствует, как они переглядываются над ним. Впитывает спиной исходящие от них волны недоумения, тревоги, страха. Плач оглушает его, отгораживает, запирает Филиппа в самом себе. Это длится долго, очень долго; они стоят над ним, и волны исходящего от них страха – все

сильнее; они как будто совещаются над ним, и ясно, что одних взглядов им не хватит. Тень бабушкиного шиньона быстро проплывает по коврику, резко возвращается и проплывает снова, указывая на выход. Тень маминой головы отрицательно покачивается. Он рыдает все более самозабвенно, пока не понимает, что бабушкина тень победила, и он остался на кухне один.

Он почти перестал плакать, но вставать не спешит. Изредка всхлипывает, содрогаюсь всем телом. Из комнаты доносятся тихие голоса, но о чем говорят – не разобрать за ровным гудением колонки. Он затихает, приподнимает голову, стараясь различить хотя бы отдельные слова, – но тут мама возвращается.

Он поспешно утыкается лицом в колени. Слышит шелест ткани, легкий щелчок суставов, когда мама приседает на корточки. На него накатывает сладкий аромат пудры и настоящих французских духов – сегодня мама при параде, она брала интервью у директора института. Прохладная рука легко прикасается к спине – и вспархивает, как редкая пугливая птица.

– Филипп, – ласково зовет мама. – Выслушай меня, Филипп. Мы с бабушкой считаем, что тебе надо в санаторий.

Филипп в ужасе мотает головой.

– У тебя совсем расшатались нервы, Филипп. Тебе нужно отдохнуть.

Мамин голос мягкий, как плеск торфяной воды о песчаный берег. Его голова все поворачивается, туда-обратно, туда и обратно, как заводная игрушка. Филипп уже не в силах остановить движение, тело не слушается его, и от страха он снова начинает плакать. Мама хватается его за затылок, чтобы остановить это бесконечное вращение, и он, сам того не ожидая, грубо отпихивает ее. Мама вскрикивает, испуганно и виновато, и этот тихий возглас ломает что-то внутри. Тело ощущается легким и пустым настолько, что вот-вот взлетит под потолок гелиевым шариком – и лопнет там, взорвется тысячью прозрачных ошметков.

Мама встает, и ее голос становится холодным и далеким, как будто долетает до Филиппа с гималайских вершин. Она говорит:

– В санатории тебе окажут...

Шарик лопается.

– Это не санаторий! – орет Филипп, и мама отшатывается. – Это психушка, вот что такое! Психушка! Дурка! – Каждое слово отбрасывает маму все дальше; она отклоняется, как тонкое деревце под зимним ветром, все сильнее, все неустойчивей. Еще несколько слов – и угол станет слишком большим, чтобы удержаться на ногах. – Желтый дом! – выкрикивает Филипп. – Желтый дурдом! – Запас синонимов иссякает, и несколько мгновений он давится словами. Под носом вспухает и лопается пузырь соплей. – Психушка! – выкрикивает он снова.

Тишина оглушает. Он открывает глаза, заглядывает маме в лицо и видит: угол наклона слишком велик. Мама остается на ногах, но это всего лишь видимость. На самом деле она уже падает. Ее глаза стали мутными, как «рыбьи шарики», россыпи которых они с Ольгой и Янкой находили в узких проходах между гаражами. Ее рот искажен от напряжения. Еще одно слово – и она закричит, и будет кричать, пока у нее не разорвется сердце – или пока она не сойдет с ума, и ее саму придется везти в санаторий.

По маминым глазам пробегает рябь; будто задерживается занавес, на котором нарисовано ее обычное лицо. За ним остается подсвеченная пурпуром тьма, в которую Филипп больше никогда не хочет заглядывать. Запах пудры и духов накатывает стремительно и неумолимо, как порыв штормового ветра, и мамина ладонь впечатывается в щеку Филиппа с таким треском, будто кто-то сломал сухую кедровую ветку.

...В конце концов он догадался накидывать на зеркало полотенце, но было уже слишком поздно. Что-то пробило в их семье колею, выскочить из которой они уже не смогли. Как Филипп ни держался, рано или поздно шарики в его голове с тихим мерным грохотом заезжали за ролики; он узнавал об этом по испуганным маминым взглядам, по поджатым бабушкиным губам. Угадывал с утра по чуть более громкому, чем обычно, звону мельхиоровой ложечки о фарфоровое блюдце, когда мама откладывала ее, размешав свой кофе. Вычислял по вкусу оладий, в которые бабушка положила меньше сахара. Иногда он даже догадывался, что именно делает или говорит не так, но не мог удержаться и снова отправлялся в (психушку!) санаторий.

Правда, до сих пор он и подумать не мог о том, чтобы сбежать.

Город, легко узнаваемый за выросшей за четверть века шелухой, скукожился, сжался во времени и пространстве. Единственная гостиница, которую сумела найти Яна, находилась на улице, которая когда-то казалась форпостом обитаемого мира, плохо заасфальтированным краем света. Теперь выяснилось, что от центра ее отделяют два квартала. Путь, казавшийся раньше почти бесконечным, съезжился до считанных минут неспешным шагом. Масштаб изменился настолько, что от осознания разницы кружилась голова и слегка подташнивало. Четверть часа – и Яна оказалась на противоположной окраине.

Город О. оказался так мал, что от этого хотелось плакать. Он порос, как разноцветными поганками, магазинчиками и стихийными рынками, прикрыл изъеденное ветрами лицо щитом уродливых, как на подбор, вывесок. Он даже обзавелся собственной двуглавой церквушкой, внезапной, как кокошник на дежурном буровой платформы. С минуту Яна щурилась на белые стены и фальшивую позолоту куполов, вспоминая, что за здание стояло здесь – на главной улице, рядом с почтой, напротив кинотеатра «Нефтяник», превращенного теперь в торговый центр, – да так и не смогла. Но сама улица (по-прежнему имени Ленина) так и осталась пешеходной аллеей – лиственницы и каменная береза в нежном зеленом пуху, роскошная бархатная лента, наброшенная на пыльный изорванный плащ. И универсам назывался универсамом. И его витрины все так же украшали банки морской капусты, художественно разложенные на фоне картонных нефтяных вышек.

А вот школа, серый кирпич которой обшили пластиковыми панелями, теперь походила на дешевую китайскую игрушку. Яна невольно ускорила шаги, проходя мимо дыры в ограде, от которой сквозь кустарник уходила узкая тропинка. Вошла в ворота, срезая дорогу, пересекла стадион – пустой, если не считать двух юных собачниц, гонявших по гимнастическим бревнам овчарку и нестриженого шнауцера. Выбралась со школьной территории через пролом на углу.

Неприметная хрущевка через дом от школы, обитая с торца бутылочно-зеленым рифленным пластиком, не менее облезлая, чем раньше, – но и не более. Чахлый палисадник со следами отчаянной, но безнадежной заботы. Крайний подъезд. Крупная дворняга в неопрятных клочьях зимней шерсти распласталась у входа. Бетонный козырек надломился и потрескался; выросший в щели куст горькой полыни кренился над входом, размахивал узкими серебристыми листьями, как

бледными изящными пальцами: не ходи сюда, тебе нельзя сюда ходить.

Домофона на двери не оказалось, и Яна свободно зашла в пованивающий псиной подъезд. Короткий пролет на первый этаж – ступени вытерты так, что превратились в полированные дуги. Особым шиком было одолеть их в три прыжка. Четыре двери на площадке. Две – современные, металлические, неинтересные. Еще одна – облезлая, когда-то выкрашенная в коричневый. В гнилой фанере на уровне коленей зияла щепками наружу свежая дыра, сквозь которую виднелся обугленный линолеум. Из дыры тянуло гарью и отсыревшим деревом. Яна зависла на мгновение, пытаясь понять, что здесь произошло, что за сила пробила дверь изнутри – но так и не смогла.

...Яна, оттягивая неизбежное, смотрит на дверь подъезда. Может, кто-нибудь выйдет, и тогда придется отойти, чтобы не загораживать дорожку. Она успела вспотеть, и теперь холод пробирается под шерстяную спортивную кофту. Филька стоит с таким видом, будто и не знает, что вокруг его задницы натянута бельевая резинка, – хотя сам ее и принес, отмотал из бабушкиных запасов. Он стыдится участвовать в девчачьей игре, и это задевает. Совсем немного, но достаточно, чтобы разозлить. Чтобы подумать: да тебе, слабаку, и третий не отпрыгать.

Другой конец длинной петли из резинки натянут вокруг бедер Ольги. Она нетерпеливо притопывает ногой. На нее Яна тоже злится: они с Филькой ждали на качелях часа два, а когда Ольга наконец появилась, растрепанная и запыхавшаяся, то соврала, что ходила на работу к маме. Яна точно знает, что соврала. Ольга выглядит так, будто бегала далеко-далеко.

Яна решает не думать об этом. Ей надо прыгать. Ветер тормозит чахлые деревца ольхи в палисаднике, едва достающие до окон первого этажа, обдирает начинающие желтеть листья. Колышутся увесистые кисти дельфиниума, осыпая синими лепестками собаку, что дремлет на раскрашенной шине, изображающей клумбу. Тоскливо скрипят качели. От влажной земли пахнет аптечной ромашкой, что коротким ворсом покрывает торфяные обочины дорожки.

– Сдаешься? – спрашивает Ольга, и Яна торопливо трясет головой. Переводит взгляд на резинку; ноги напрягаются, будто примериваясь, в животе ворочается целое гнездо холодных червяков, горло перехватывает. Одолеть «пешеходов» – все равно что вскочить на крыло пролетающего самолета.

Червяки в животе шебуршатся совсем уж невыносимо. Ноги сами собой подбрасывают Яну вверх, и ступни накрывают резинку, прижимая ее к асфальту, – правая на дальней стороне, левая на ближней. «Пе!» – отчаянно выкрикивает Яна, стоя на дне резиночного треугольника. Ольга шмыгает носом. «Ше!» – орет Яна в новом прыжке и меняет ноги: теперь левая прижимает дальнюю резинку, а правая – ближнюю. «Хо!» – она прыгает изо всех сил, пытаясь снова поменять ноги, но резинка предательски выскакивает из-под носка и выпрямляется с тихим гудением. От ее вибрации рябит в глазах.

– Вышла, – говорит Ольга и через голову снимает с себя резинку. Яна покорно принимает свой конец петли и надевает на талию.

Ольга, не задумываясь, взлетает над асфальтом. Ее спина изгибается, голени уходят назад, почти вплотную прижимаясь к бедрам. Бесконечные доли секунды она висит в воздухе, и светлый хвост, вытянувшись в горизонталь, бьется на ветру.

– Слышь, Оль, – раздается хриплый голос.

Сила тяжести хватает Ольгу за полы куртки и сдергивает на землю. В падении она разворачивается, выставляет руку; колено шаркает по асфальту, и когда Ольга выпрямляется, на ее колготках зияет дыра, сквозь которую видно ссаженную коленку.

– Нарочно меня сбил! – разъяренно вопит Ольга. Ее розовые ноздри раздуваются от ярости.

Жека пятится. У него прищуренные глаза в белых ресницах, узкое лицо и вечно влажная, оттопыренная нижняя губа. Он на два года старше, но учится в одном с Ольгой классе: дважды второгодник, в школу он почти не ходит, и Яна чаще сталкивается с ним на улице или в Ольгином подъезде, чем на переменах. Иногда он катается на мусоровозе. Яна слышала, как он ныл, упрашивая мусорщика разрешить ему ходить по дворам с колокольчиком...

– Слышь, – повторяет Жека. – Пойдем ко мне, что покажу.

Ольга морщит нос.

– Лучше вынеси, – говорит она.

Жека подозрительно оглядывает пустые качели, дорогу, дальний подъезд, у которого припаркована яично-желтая «Нива».

– Не могу, вдруг засекут.

Ольга переступает с ноги на ногу, чешет подъем стопы о лодыжку. С сомнением поглядывает на Фильку и Яну.

– А им можно? – спрашивает она. Жека машет рукой. Яна вдруг понимает, что ей светит нечто пострашнее «пешеходов», и упирается:

– Я не пойду, у него родаки дома.

– Да не бойся, мама ничего не скажет, а бати нет, – отвечает Жека.

...Изредка Яна встречает Жекиного отца на улице, всегда в распахнутом тулупе и шапке-ушанке. Иногда он злобно разговаривает с кем-то невидимым. Прохожие стараются не обращать на него внимания и поспешно отводят взгляд от страшного, будто надутого изнутри лица, сплошь состоящего из лиловых бугров и рытвин. Говорят, это сделал медведь, когда Жекин отец по пьяни заснул на рыбалке. Он всегда носит черные шерстяные перчатки – даже летом, – потому что руки у него тоже изорваны. Яне хочется подслушать, что он говорит, но откуда-то понятно, что это неприлично, это само по себе сделает ее такой же, – и она отворачивается и ускоряет шаг. Почти убегает, изнывая от жгучего любопытства, от желания подсмотреть. От сладкого и противного привкуса страха во рту...

Заходя в подъезд, она ловит взгляд Фильки. Его уши пылают, физиономия вытянулась, как будто он с ума сходит от любопытства – и в то же время мучается от зубной боли. Яна понимает, что это – отражение ее собственного лица. Они гуськом поднимаются на первый этаж. Жека поворачивает ручку двери; та немного приоткрывается и застревает, перекошенная, уперевшись углом в пол. Изнутри накатывает запах прелых тряпок, сивухи и кипяченого молока. Филька широко – слишком широко – ухмыляется.

– Я здесь не пролезу, – громко говорит он. Ольга сердито толкает его локтем.

– Тсс, – шипит она и косится куда-то в потолок. – Если баба Нина услышит, она маме скажет. Она мне голову оторвет.

Жека яростно дергает дверь, и та наконец открывается.

Больше всего Яну поражает, что весь пол в квартире завален вещами, которые никогда не убрали, даже не подбирали. Им приходится идти по толстому слою одежды, тетрадей, пеленок и набитых чем-то неведомым авосек. Ноги утопают в толстом слое хлама. Это ужасающе, но в этом есть и неизъяснимая, болезненно притягательная лихость. Яна не сразу замечает Жекину маму – она сливается с окружающим ее тряпьем, сидя на почти невидимом под завалами диване с копошащимся свертком на руках. Яна застывает, и Жека подталкивает ее вперед. «Здрасьте», – шепчет за спиной Филька. Жекина мама поднимает глаза, смотрит сквозь него и отворачивается. Тычет бутылочкой в шевелящийся куль.

Жека ныряет в гору хлама в углу. Ольга складывает руки на груди. Яна озирается, стараясь не смотреть на женщину на диване. Она нагоняет ледяную жуть, ту самую, что прячется иногда за словами «вырастешь – поймешь». Яна думает, что, может, не так уж и хочет расти, если ей придется понять то, что кроется за этим мертвым взглядом.

Чтобы отвлечься, Яна рассматривает подоконник, погребенный под Жекиными учебниками и тетрадями. Зажатый между стопкой книг и приваленным к стеклу ранцем, там цветет декабрист в литровой банке, кое-как обернутой листом зеленой, в потеках бумаги. Ярκο-красный цветок – единственное, что есть в этой квартире ладного, гладкого, свежего, и Яна цепляется за него глазами, как за соломинку.

Жека наконец выныривает из угла. На ладонях у него лежит нож. Он протягивает его Ольге, как рыцарь – меч. Нож – настоящий, взрослый, с гладкой ложбинкой на лезвии, чуть приподнятым, будто курносый кончиком и пористой рукояткой из оленьего рога. Похожий есть у Яниного папы: он берет его на охоту.

– Ух ты ж, – говорит Ольга и склоняется над ножом.

Яна заглядывает ей через плечо; Филька дышит в ухо. Жека расправляет плечи и поворачивает нож к окну, к свету. Прерывистые блики пробегают по лезвию, покрытому темными матовыми пятнами. Такие же пятна, только бледные, будто застиранные, видны на рукоятке. Филька перестает сопеть. Ольга с присвистом втягивает в себя воздух, замирает, вытянувшись и сжав кулаки.

– Нравится? – радуется Жека. Снова поворачивает нож, любясь, вздыхает и протягивает Ольге. – Это тебе.

(Нож словно сам выпрыгивает ему в руку из вороха мятых, в мокрых пятнах газет, – тяжелый, ладный, настоящий. Жека тут же принимается ковырять им черенок лопаты. Лезвие входит в дерево, как в масло. Жека успевает вырезать букву «Ж», когда мусорщик говорит: «Подарил бы Ольге». Жека испуганно бросает лопату и пытается приладить нож за пояс. «Нафиг ей нож, она же девчонка», – бурчит он. «Ей бы понравился», – отвечает мусорщик, и Жека задумывается. От усилий его лоб собирается в складки. «Я ей рогатку вырежу», – наконец говорит он. «Подумаешь, рогатку, – усмехается мусорщик. – Рогатку она сама себе вырежет. А это – настоящий нож, охотничий. Вещь». Жека качает головой и все пытается пристроить нож понезаметнее, но мысль о том, что сказала бы Ольга, уже засела в его голове.)

– На, – Жека тычет нож рукояткой вперед, как учил батя, но Ольга так и стоит с выпрямленными, вытянутыми вниз руками и даже не разжимает кулаки. – Ты чего?

Ольга закрывает глаза и медленно качает головой, напряженная, как струна. Жека цыкает зубом.

– Ну, не хочешь – не надо, самому пригодится, – подрагивая губой, он стягивает с подоконника ранец. – В школе покажу.

– Подожди, – вмешивается Яна и забирает у него нож. Почти насильно впихивает в руку Ольге. Та вздрагивает, будто проснувшись, беззвучно шепчет: «Спасибо». – Где ты его взял? – спрашивает Яна.

– А в «Романтике» купил. Накопил и... – Жека спотыкается об их недоверчивые взгляды. – Ну ладно: нашел, – он отводит глаза и обтирает ладони об штаны. Они ждут. – Ну чего вы на меня уставились? В мусорке нашел.

Филька довольно кивает, будто учитель, услышавший правильный ответ. Втроем они смотрят на нож, думая об одном и том же.

– Да чо вы! Хороший же ножик! Я ж его вымыл! – возмущается Жека. Яна хмыкает, и он торопливо объясняет: – Ну кончик не стал, как-то ссыкотно его руками трогать, а рукоять вымыл! С мылом!

Несколько секунд они осознают сказанное. Филька понимает первым – и взрывается.

– Придурок! – выпаливает он, едва не подскакивая, и притопывает ногой. Его рот кривится, нос стремительно опухает и становится малиновым. – Дебил!

– Сам такой! Щас как дам...

Ольга загораживает Фильку плечом, упирается Жеке ладонью в грудь.

– Отпечатки же, – стонет за ее спиной Филька. – Отпечатки! Доказательства! Дурак... – всхлипнув, он разворачивается и, путаясь ногами, выбегает. Слышно, как скрежещет дверь.

– Сам дебил... – ворчит Жека.

Ольга стучит пальцем по лбу.

– Это ЕГО нож, – шепотом говорит она. – Его, понимаешь?

Они останавливаются под козырьком подъезда. На дорожке Филька, все еще всхлипывая, сматывает резинку в аккуратный клубок. Ольга держит нож двумя пальцами, кусает губу.

– Он его из-за нас выкинул, – говорит она. – Испугался! Я же говорила, что получится!

Яна с сомнением пожимает плечами.

– Может, не все стерлось, осталось что-то? – с надеждой спрашивает Филька.

– Жекины отпечатки там остались, – снова пожимает плечами Яна. – Твои. Мои. Бесплезно его отдавать.

Они молча рассматривают нож. Почти любуются им.

– Я не могу у себя оставить, мама увидит, – говорит наконец Ольга.

– Давай мне. Я знаю, куда спрятать.

Почему-то Яне очень важно заполучить этот нож. Можно спрятать его на верхней полке в темнущке, за папиными геологическими журналами. Их пыльные, чуть покособившиеся стопки похожи на обнажения осадочных пород. На бесплодные склоны сопков, в которых никто не станет искать.

Яна пытается примостить нож за пояс, за пазуху и в конце концов просто засовывает в карман кофты. Ее пола тут же перекашивается и обвисает. Рукоятка торчит наружу, и Яна прикрывает ее рукой. Кончик ножа уже проткнул ткань. Он почти незаметен – темно-бурый на темно-синем, – но Яна чувствует его, как притаившееся опасное животное, которое вот-вот вывернется и вопьется грязными клыками прямо в живот.

– Получается, он правда больше не будет? – тихо спрашивает Филька, и Ольга раздраженно фыркает.

– Он просто возьмет другой, – отвечает Яна.

Яна еще раз посмотрела на дыру, тряхнула головой, отгоняя видение Жеки, пробивающего фанеру белобрысой макушкой, и отвернулась. Крайнюю слева дверь, ведущую в квартиру, где жила Ольга, тоже так и не поменяли. Рыжая краска внизу превратилась в темно-серую; на слое грязи виднелся небольшой отпечаток рифленой подошвы – кто-то маленький и ленивый закрывал дверь, надавливая на нее носком. Яна привычно потянулась на цыпочках; нервно усмехнулась, сообразив, что теперь достаточно поднять руку; нажала на кнопку звонка. В глубине квартиры задрезбужало. Звук тоже не изменился.

Послышались быстрые, размашистые, легкие шаги, и дверь уверенно распахнулась.

– Полина, я тебе велела одной не... – высокая светловолосая женщина застыла, чуть близоруко щурясь в сумрак подъезда.

Яна тихо ахнула.

Ольга была ошеломительно красива. В затрапезных трениках и футболке, со свисающей паклей челкой, с темными кругами под глазами и усталой складкой у губ, – ее красота пробивалась из-под наносного, как искры на подернутом пылью снегу. Ольга всегда была другая. Не хорошенькая, даже не симпатичная, но – другая. Раньше Яна это только чуяла; теперь – понимала почему.

– Привет, – негромко сказала она.

Оливковая кожа Ольги сделалась голубоватой. Она отступила на шаг, нервно оглянулась, повела плечами, будто пыталась надежней загородить вход. Губы беззвучно шевельнулись.

– Привет, – повторила Яна громче. – Это я.

– Отче наш... – прошептала Ольга и, не сводя с нее глаз, зашарила под горловиной футболки.

– Что?! – тонким голосом переспросила Яна.

– Отче наш, – отчетливо повторила Ольга. – Иже еси... Сгинь-пропади, нечистая сила... – и она сунула Яне под нос костлявый кукиш.

– Охренела?! – рывкнула Яна и легонько оттолкнула кукиш.

Рука у Ольги была ледяная. От прикосновения она тихо вскрикнула. Фига, которой она тыкала Яне в лицо, расплелась, рука тяжело упала вдоль тела. Безумный блеск в глазах угас, превратился в едва тлеющий уголек.

– Извините, обозналась, – холодно сказала Ольга. – Вам кого?

– Ольга, ты чего? Это же я... Нигдеева, ну?

Лицо Ольги прояснилось, как будто она решила наконец сложную задачу, занимавшую ее уже не первый день. Яна заулыбалась, готовая войти, уже приглашенная в своем воображении в дом.

– Да идите вы, – прохрипела Ольга и попыталась захлопнуть дверь. Створка ударилась в плечо Яны, уже наполовину просунувшейся в коридор, и вырвалась из рук. – Вам кажется, это смешно?! С-ссуки...

– Ольга...

– Гады... – Ольга с размаху провела ладонью под глазами, полосой размазав тушь. – Суки... Мало вам было, еще и ее приплели... Вы взрослая женщина, вам не стыдно покойников тревожить?

– Каких покойников?! – Яна отшатнулась. – Кто? Филька? Я думала, он... Послание же... Ольга!

– Сука! – взвизгнула Ольга, и дверь с грохотом захлопнулась. Гукая и завывая, по подъезду прокатилось эхо, и стало тихо. Так тихо, что слышны были тонкий ручеек осыпающейся штукатурки и комариное зудение лампочки.

– Ничего себе, – звонко сказал кто-то за спиной.

Яна обернулась, и у нее закружилась голова. На секунду ее охватило сумасшедшее ликование: ну конечно, это недоразумение, она приняла за Ольгу незнакомую, чужую, безнадежно взрослую женщину, а Ольга – вот она, стоит, привычно подшмыгивая носом, и смотрит с любопытством и легким неодобрением. Яна шевельнула губами: «Ольга?» Девочка закатила глаза.

– Опять, что ли? Пустите, мне домой надо.

Спохватившись, Яна отодвинулась от двери. Девочка, подозрительно косясь, поднялась на цыпочки, потянулась к звонку.

– Подожди, – попросила Яна. Девочка обернулась через плечо, но руку не опустила. – Будь добра, скажи маме... скажи... нет. Лучше передай...

Яна сдернула с плеча рюкзак. Она ездила с ним на конференцию, они должны, должны остаться, все давно пишется в телефон, но Клочков сказал, что ей положено, и спасибо ему, эта сердитая девочка не станет записывать телефон или искать ручку, стоя в полутемном подъезде, и будет права, и молодец, надо быть осторожной, но в ней ни капли страха, это у нее в крови – ни капли страха, даже когда бояться уже пора, когда бояться просто необходимо, проклятие, сколько ж в этом рюкзаке карманов...

– Вот! – торжествующе выкрикнула Яна и взмахнула визиткой. – Вот, передай это маме. Здесь телефон...

– Вижу, – хмуро сказала девочка. Взяла визитку и выжидающе уставилась на Яну. Та переминалась, ерошила волосы обеими руками, рассеянно поглядывая по сторонам. – Ну? – подхлестнула девочка. – Вы уйдете или так и будете стоять?

Яна вздрогнула и, неловко кивнув, бросилась вон. В спину полетел приглушенный скрежет звонка. Яна ударила по двери плечом, выскочила на улицу – глубоко втянула горько-соленый, с песчаным привкусом воздух – и, не оглядываясь, зашагала прочь.

Спящий у подъезда пес поднял голову, посмотрел ей вслед и снова, блаженно жмурясь, вытянулся на боку.

6

...Если идти из музыкалки не по Ленина, как положено, а по Блюхера, обрезая углы и изгибы через дворы деревянных двухэтажек, – получается чуть быстрее. Яна сокращает путь не потому, что торопится домой, а потому, что ей запрещено так делать. Здесь нет тротуаров, почти нет прохожих, а почерневшие от старости дома через один назначены под снос. Яна идет по Блюхера, потому что уже все. Терять нечего. Спасать нечего. Куртка распахнута, и под белую блузку пробирается холод. Карманы, набитые халцедонами, бьют по ногам. Где-то среди камней трется, пачкаясь и покрываясь дырами, белая капроновая лента. Яна не глядя шагает по обочине, разбрызгивая жидкую глину. Цвет сапог не

разобрать под грязью. Ненавистная юбка до середины икры, как у взрослых, купленная на вырост, черная, плиссированная, неуклюжая, заляпана грязью. Телесные капроновые колготки тетя Светы – настоящие взрослые, необъяснимо, до дрожи отвратительные, которые Яну заставили надеть, чтобы она выглядела прилично, – покрыты сзади коркой глины. Такая же корка налипла на мягкий клетчатый чехол скрипки. Пакет с ковбоем и надписью «Мальборо», подарок тети, присланный с материка, волшебным, восхитительно нездешним, – испачкан так, что не разобрать, где глина, а где конь.

Мысль о том, что его придется отмывать, кажется далекой и бессмысленной. Это будет в другой жизни, которая никогда не наступит. Разум даже не пытается пробиться сквозь предстоящий вечер – он в бессильном ужасе отступает перед подсвеченной багровой яростью тьмой.

...Ирина Николаевна проводит Яну лабиринтом лесенок и переходов, и они оказываются в коридоре, по одну сторону которого идут обычные кабинеты, а по другую дверь только одна – огромная, высокая, двустворчатая. Сейчас она распахнута, и сквозь нее широким потоком льется таинственный сливочно-желтый свет, пропущенный сквозь занавес над сценой. Там кто-то играет «Разбойников» – и здорово играет, наверное, из четвертого класса, а то и из пятого, – с того места, где они остановились, видно только аккомпаниатора. Яна крепче сжимает скрипичный гриф, и он становится скользким от пота.

– Ради бога, хоть в этот раз меня не опозорь, – говорит Ирина Николаевна. – Я уже всем рассказала, как ты хорошо сыграла на прогоне. Соберись хорошенько.

Ирина Николаевна сегодня – в своем самом красивом платье, темно-синем, как вечернее небо. Она бледная, тонкогубая и горбоносая, с шапкой пепельных кудрей, высокая и угловато-тощая, будто собранная из длинных дырчатых планок детского конструктора. Но стоит ей взять в руки скрипку, и она становится плавной и струящейся. Становится красивой. Доброй.

Ирина Николаевна протягивает руку, поправляет пышный белый бант на Яниной голове. Волосы слишком короткие, бант держится на собранном на макушке крысином хвостике; Яна чувствует, как волосы прядка за прядкой выскальзывают из узла, и бант неудержимо сползает к уху. Из зала доносятся аплодисменты. Пятиклассник с мокрым ошалелым лицом сбегает с дальнего конца сцены.

– Ну, пошла, – Ирина Николаевна легонько пихает Яну в плечо.

Пять высоких деревянных ступеней непреодолимы на вид. Но, как Яна ни тянет налитые свинцом ноги, – лестница кончается быстро, очень быстро.

– Руку не зажимай! – шипит снизу Ирина Николаевна.

Гриф скользит; Яна стискивает его в кулаке с такой силой, что струны врезаются в пальцы. Округло выставленные на смычке пальцы дрожат и костенеют, норовя превратиться в неуклюжую птичью лапу. Яна останавливается в центре сцены.

Краем глаза она видит, как Ирина Николаевна прокрадывается в зал и садится на угловое кресло – прямая и сухая, как доска. Остальные места в первом ряду заняты комиссией. За ними – зрители. В левой части зала – тесная кучка принаряженных родителей, тех, кто захотел и смог отпроситься с работы. В правой – младшеклассники из четвертой школы, которых пригнали культурно развиваться. Некоторые уже хихикают и тычут в Яну пальцем. Она стоит слишком долго. Взрослые склоняются друг к другу, обмениваясь негромкими фразами. В комиссии переглядываются.

Спина у Яны из холодного как лед бетона, ноги – мягкие болтающиеся колбаски тряпичной куклы, а от сердца остался лишь трясущийся мелкой дрожью комок в солнечном сплетении. Окаменелое лицо сползает вниз под собственной тяжестью. Серая муть постепенно заливает зал, и сквозь нее едва видно, как Ирина Николаевна вытягивается в кресле; ее губы становятся еще уже, спина – еще прямее, а брови медленно сползаются к переносице.

Это движение бровей – как толчок под дых, заставляющий согнуться. Яна коротко кланяется в заполнивший зал туман. Вскидывает скрипку, придавливает подбородком, зажимает лакированным деревом пыльный сухой ком, тысячей иголок растопырившийся в горле. Аккомпаниатор ударяет по клавишам, и Яна поднимает тяжелый, как кусок арматуры, смычок.

Правый локоть тут же взлетает к уху, за ним лезет плечо – чужое, окостенелое. Пальцы левой руки цепляются друг за друга, за струны, не попадают на место. Яна пилит этюд, отчужденно слушая фальшивый скрежет. Лицо покрывает корка застывшего цемента. Яна пилит второй прямо в серую муть, покрытую белыми пятнами лиц. Пятна медленно плывут к потолку, и вот уже не Яна стоит

над залом, а зал нависает над ней; белые пятна лишены черт – у них есть только выражение, которое не воспринимается глазами, а ощущается напрямую, – равнодушная готовность припечатать оценкой. Этюд кончается мертвенным, безликим скрипом. Она должна играть дальше. Она должна сыграть «Гавот» Баха, порхающий, как трясогузка над водой. Яна поднимает смычок, ожидая, когда заиграет аккомпаниатор, но тут с середины первого ряда говорят:

– Спасибо, достаточно.

Яна опускает скрипку, мертво глядя поверх голов. В тишине раздается пара неуверенных хлопков – и замирает, будто растаяв от смущения. Яна снова кланяется и на прямых, как шпалы, ногах спускается со сцены.

...В просторном кабинете, где обычно идет сольфеджио, пахнет канифолью и влажными куртками, – почему-то раздевалка сегодня закрыта. Ученики толпятся у банкетки, собирая портфели, учителя из комиссии сгруппировались вокруг стола. Ирина Николаевна швыряет дневник Яне, и исписанные ее крупным неразборчивым почерком листы вспархивают чайными крыльями. Мелькает багровая загогулина тройки. Длинный минус похож на след от удара ремнем.

– В году я поставила тебе четверку, – говорит Ирина Николаевна и бросает быстрый сердитый взгляд на комиссию. – Считай это авансом.

Яна подбирает дневник, кладет его в пакет и начинает укладывать в чехол скрипку. Кто-то протягивает ей бант (на белой капроновой петле темнеет бурый отпечаток ребристой подошвы), и она не глядя сует его в карман куртки. Кажется, лицо парализовало, и теперь она никогда в жизни не сможет пошевелить ни единой мышцей.

Ирина Николаевна сидит на подоконнике, высунувшись в окно, курит короткими нервными затяжками, и линия ее тела изломана, как тонкая сухая ветка.

...Яна выходит к перекрестку, перебегает дорогу и оказывается на углу школьного двора. Здесь она обычно переходит на другую сторону или держится рядом со взрослыми прохожими, но сегодня ей все равно. Она просто идет мимо, даже не посмотрев на тропинку, ведущую от дыры в заборе в глубину зарослей ольхи, где старшеклассники устроили курилку.

– Ого, как Нигдеева вырядилась! – слышит она.

Второгодник Егоров медленно движется навстречу, ухмыляясь во весь рот. Яна быстро оглядывается – но за спиной дорогу уже перегородили трое его дружков из пятого «В». Одного из них, лучшего корефана Егорова, высокого, с длинной щекастой головой, все зовут Груша. Двух других Яна знает только в лицо. Все четверо одеты в форму, хотя уроки в средних классах закончились еще три дня назад, – наверное, ходили на дополнительные занятия для двоечников. Все четверо – без галстуков: пятиклассники сняли их, едва выйдя из школы, чтобы не выглядеть как ботаники, а у Егорова галстука просто нет: за хулиганство его исключили из пионеров еще в прошлом году. Яна отступает к забору, машинально приподнимает скрипку и уводит ее за спину. Егоров замечает движение и ухмыляется еще шире.

– А, ты ж у нас скрипачка, Нигдеева, – он мягко надвигается на нее, и Яна вжимается лопатками в прутья ограды. – А сыграй нам на скрипке! Давай, доставай!

– Давай лучше я сыграю, – ржет Груша и тянет руки к чехлу. Яна пытается лягнуть его ногой, но не достает, и пацаны закатываются от гогота.

– Зырьте, у нее колготки настоящие! – замечает вдруг Егоров. – Ну-ка!

Он делает неуловимое обманное движение к скрипке и, когда Яна отвлекается, рывком задирает ей юбку.

– Смотри, у нее трусы просвечивают! – в восторге вопит один из пятиклассников. – Трусы в горошек!

Яне хочется умереть. Она думает, что сейчас умрет, но не умирает. Она пытается прижать юбку ладонями, но в одной руке у нее скрипка, в другой – пакет, и Егоров легко, почти лениво отводит подол в сторону.

– Трусы-ы! – закатываются его дружки.

Глаза Егорова загораются новой идеей, и Яна не ждет, чтобы выяснить, какой именно. Коротко размахнувшись, она обрушивает скрипку на картофельную

морду Егорова. Кажется, что чехол стал прозрачным, и она почти видит, как твердая, в спираль завитая головка грифа сворачивает егоровский нос набок, а задняя дека смачно впечатывается в щеку. В чехле тихо хрупает, и в ответ что-то так же тихо хрупает под ребрами, отрывается, падает, падает. Тоненько гудит струна (ми, думает Яна. Ми. Самая тонкая. Писклявая).

(– Мы со Светланой собирались достать тебе хороший жесткий футляр, – говорит папа. Яна стоит в углу, лицом к стене, и слушает, как шуршит по дереву наждачная бумага: папа подгоняет новый скрипичный порожек взамен сломанного. – Хорошо, что не стали. С вещами ты обращаться не умеешь.)

Егоров хватается за побагровевший нос. Яна тут же прижимает юбку к бедрам – обеими руками, скрипкой, пакетом с нотами. Ей приходится согнуться. Она исподлобья смотрит, как нефтяные пятна зрачков затапливают глаза Егорова.

– Ты, рыжая, совсем обнаглела?! – вопит он и толкает ее в грудь.

Яна впечатывается в ограду, отталкивается от нее спиной, целясь поднырнуть сбоку, но Груша пихает ее обратно. Яна отмахивается пакетом, чувствует отдачу, – твердый уголок нотного сборника вlepился кому-то в живот, – и снова вжимается в забор. На мгновение ей кажется, что сейчас все закончится: обзовут напоследок, может, толкнут лишний раз и уйдут, заливаясь гоготом, руки в карманах. Если бы Егоров был один, если бы пацанов было двое, даже трое, – наверное, так бы и вышло. Но их четверо. Дружки подпирают Егорова со спины. Подталкивают. Раскачивают его и друг друга, в разных фазах и с разными скоростями, и никак не могут совпасть в той точке, где могли бы остановиться.

Зрачки Егорова превращаются в игольные дырки на серой радужке – стремительно и завораживающе жутко. Теперь Яна пугается по-настоящему. Мысли о том, что будет дома, улетучиваются из головы: страшное происходит здесь и сейчас.

– Тащи в курилку, – командует Егоров и хватается Яну за плечо. – Щас мы там с ней разберемся.

Яна проваливается в ослепительно сверкающую черноту. Глухая боль в локте, пятке, костяшках пальцев, которые врезаются в чьи-то лица, ребра, животы, – слабо, бессильно. Это бесит, это приводит в ярость. Оглушительная боль, когда

чья-то пятерня вцепляется в волосы. Ноги скользят по асфальту; Яна упирается, пытается воткнуть пятки в землю, как крюки, но лишь беспомощно скребет ступнями. Она выворачивает шею. Грязные пальцы с обкусанными ногтями, сомкнутые на ее плече, оказываются так близко, что расплываются в песочно-серое пятно. Отвратительное ощущение чужой кожи под зубами. Теплое, соленое, железное на губах. Пальцы тут же разжимаются, и сквозь черную вату до Яны доносится дикий крик.

– Ты больная, Нигдеева! – вопит Егоров, размахивая окровавленной ладонью. – Тебе в психушке место!

Он замахивается; Яна втягивает голову в плечи, но вместо удара чувствует лишь резкое движение воздуха.

Ольга отбрасывает руку Егорова, как мокрую, осклизлую тряпку. Говорит:

– А ну быра отвяли от нее, придурки.

Хватка ослабевает, и Яна винтом выкручивается из рук. Нырять вперед, почти врезается в Фильку, подпирающего Ольгу сзади. Перекладывает пакет в другую руку, к скрипке. Сжимает наконец-то ничем не стесненный кулак, вытирает со рта чужую кровь.

– Правда, отстаньте от нее, – говорит Филька.

– А ты чего лезешь, жирный? – ухмыляется один из пятиклассников. – Невесту, что ли, защищаешь?

– Да пошел ты на...

– Ты чо сказал?

Они сцепляются так быстро, что Яна едва успевает отодвинуть скрипку. Второй пятиклассник наваливается на Фильку сбоку, и Ольга с диким визгом вцепляется ему в вихры. Яна видит, как замахивается Егоров, хватая его сзади за куртку и изо всех сил бьет ногой в зад. Егоров отмахивается почти не глядя; на мгновение Яна теряет способность видеть, слышать и дышать, а потом боль

выплескивается из-под ребер и затапливает весь мир.

– Ноги! – пробивается сквозь багровые сполохи; кто-то сжимает ее ладонь. Горячая, мягкая, дружеская рука тянет ее в сторону, и Яна, все еще оглушенная, подчиняется.

– Свихнулся! – вопит Ольга.

Яна приходит в себя. Она понимает: втроем против четверых старших не выстоять, надо бежать – и бежать вдоль школьного забора ко дворам, в прямоугольный лабиринт хрущевок, где можно затеряться, заскочить в подъезд, а если повезет, то успеть спрятаться у Ольги. Путь перекрыт, но можно попробовать пробиться, наброситься втроем, прорваться. Но Филька тянет их к перекрестку, обратно на улицу Блюхера, где негде спрятаться, где почти не бывает взрослых прохожих, к которым можно пристроиться, чтобы отстали. «Да бежим же!» – ноющим голосом твердит Филька и тянет ее к дороге. Ольга пятится за ними, лицом к преследователям, готовая снова вступить в драку. Слева доносится басовое гудение; Яна бросает быстрый взгляд на дорогу и видит, что к перекрестку приближается колонна «Уралов» цвета хаки, с эмблемами Института на борту. Крокодилья морда первой машины уже так близко, что, кажется, ее можно коснуться.

– Давай! – орет Филька, дергает ее за руку и бросается наперерез машине. Рядом несется Ольга; в два шага она обгоняет их, как стоячих, и оказывается на противоположной обочине. Оборачивается – глаза на побелевшем лице кажутся огромными и черными, как заполненные болотной водой ямы. Водитель сигналил, и отчаянный вопль клаксона багровой воронкой закручивается в мозгу.

Они успевают. В спину летит отчаянный мат водителя, далекий и нестрашный. Филька дергает вправо, ныряет за угол, и они оказываются во внутреннем дворике г-образной деревянной двухэтажки. Дом такой старый, что кажется частью пейзажа, никак не связанной с людьми. Крошечный двор пуст – ни деревца, ни качелей, лишь наполовину вкопанные в землю шины по краю да железный турник, на котором висит облезлый ковер, – будто кто-то вынес его выбивать, да так и бросил, отвлекся на важные дела.

Филька с усилием открывает дверь, и они оказываются в подъезде. Лестница и почтовые ящики почти разочаровывают, – Яне казалось, что в таких домах все

должно быть по-другому. Но здесь все почти так же, как в обычных домах, только меньше, и вместо бетона – дерево. Стены – темно-синие, а ступеньки выкрашены в рыжий. Филька с топотом несется впереди, и доски скрипят и прогибаются под его ногами. Лестница такая узкая, что приходится подниматься гуськом. Густо пахнет прелым деревом. Свет едва пробивается в маленькое, разделенное на клеточки окошко на площадке между этажами.

Они вбегают на второй этаж. Сюда выходят всего две квартиры. Филька бросается к левой, на ходу шаря за пазухой. Вытаскивает из-под рубашки ключ на коричневом ботиночном шнурке, но, вместо того чтобы вставить его в замок, наклоняется, прикладывает ухо к скважине и замирает, сосредоточенно прикрыв глаза.

– Ты чего? – возмущается Ольга.

– Тихо ты! – шипит Филька. – Вдруг они...

Внизу хлопает дверь, и Филька выпрямляется так резко, что едва не теряет равновесие. «Говорю тебе, сюда забежали!» – доносится снизу. Руки Фильки ходят ходуном, и он никак не может попасть в замок. Никак. Не может. Яна озирается. Лестница, перегороженная старыми санками и коляской, ведет дальше, но даже в полутьме видно, что пролет упирается в запертую на висячий замок решетку. Слышны неторопливые шаги; если чуть наклониться и заглянуть сквозь перила, можно увидеть макушку Егорова. В горле Яны мелко трясется что-то горячее и скользкое, как сгусток крови. Она отступает к последнему пролету – положить скрипку, взять санки, бить сверху вниз. Егоров начинает медленно поднимать голову.

– Есть, – хрипло выдыхает Филька. Ольга дергает Яну за руку; они проскакивают в квартиру, пока Филька, кривя мокрое лицо, отчаянно дергает ключ, пытаясь вытащить его из заевшего замка.

Он захлопывает дверь ровно в тот момент, когда торжествующая физиономия Егорова появляется над краем лестничной площадки. Яна толчется в темной полутьме, пропахшей едой, тычется скрипичным грифом в какую-то мебель, наступает Ольге на ногу, получает тычок под ребра; слушает успокоительное железное бряканье, догадывается по звуку: Филька задвигает засов, накидывает цепочку, проворачивает ключ.

– Пронесло... – выдыхает Ольга.

Длинно дребезжит дверной звонок, и от этого звука что-то обрывается внутри. Филька, как сомнамбула, с пустым лицом тянет руки к засову. Ольга хватается его за куртку, тянет к себе, вертит пальцем у виска. На Филькиной физиономии проступает испуг, но глаза становятся осмысленными.

В дверь начинают грохотать кулаками, бьют ладонями. Филька стоит с другой стороны, ссутулившись, вяло, чуть по-обезьяньи свесив руки, и ждет. По нему видно, что дело для него привычное: терпеливо ждать, когда отстанут.

– Жирный, выходи! – орет за дверью Егоров, и Филька втягивает голову в плечи. Ольга трогает его за рукав, мотает головой в глубь квартиры:

– Не обращай внимания.

– Ага, тебе хорошо так говорить, – огрызается Филька, и его голос едва различим за грохотом. – А у меня бабушка скоро придет.

– Выходи давай! – орут на лестничной площадке.

Хлопает дверь соседней квартиры, и вопли заглушает младенческий рев. Филька поднимает голову, слабо улыбается – победно и испуганно.

– А ну пошли вон отсюда! – Визгливый женский голос заходится от ярости. – Милицию вызову! Я кому сказала!

Ей отвечает взрыв хохота; Яна с облегчением слышит удаляющийся топот – компашка бежит вниз по лестнице. Филька переводит дух и смотрит на часы. Собирается что-то сказать, но Ольга успевает первой:

– Мы у тебя посидим полчаса, подождем, пока уйдут.

Филька открывает рот, заливаается краской, захлопывает челюсть. Выдавливает механически, как попугай:

– Проходите, пожалуйста.

Толкаясь в темном коридорчике, они стаскивают сапоги, с любопытством оглядываются. Филька, поколебавшись, тычет пальцем вперед:

– Давайте на кухню. Чаю попьем...

Оля вдруг хихикает, и, глядя на нее, Яна тоже начинает смеяться, сама не зная чему. Филька неуверенно улыбается в ответ.

Первым делом он подходит к окну, отодвигает занавеску. Яна подсовывается сбоку. Двор пугающе близок. Компания Егорова расположилась рядом с турником; один из пятиклассников сдернул с перекладины ковер и теперь сидит на нем по-турецки, очень довольный собой. Остальные играют в ножички. Филька вздыхает, смотрит на часы, и до Яны вдруг доходит: он боится, что бабушка застанет их с Ольгой в гостях. За это Фильке влетит – из-за той истории с нитками ему даже на улице не разрешают с ними разговаривать, а он их домой привел. Точно влетит... Яна снова выглядывает в окно, прикидывая, сможет ли незаметно пробраться мимо пацанов.

Получается – не сможет. Яна бочком садится на табуретку у стола. Неподалеку слышны размеренные шаги: наверное, кто-то в раздумьях ходит за стеной, в соседней квартире. Воображение рисует чуть сутулого мужчину с узким твердым лицом и бородкой, как у профессора в кино. Громко щелкают настенные часы, отсчитывая время. Яне надо быть дома к шести, когда тетя Света приходит с работы. Но она велит показать дневник музыкалки, и... Яна упирается ладонью в лоб, пряча наливающиеся горячим глаза.

Закопавшаяся в коридоре Ольга входит на кухню. Вид у нее озадаченный.

– А зачем у вас в комнате три кровати? – спрашивает она.

Филька перестает пялиться на Егорова.

– А как? – удивляется он. – Моя, бабушкина и мамина.

– А во второй комнате кто живет? Той, запертой?

Филька бледнеет и отступает, вжимаясь в подоконник.

– Это папин кабинет, там закрыто, – говорит он шепотом. – Туда нельзя.

– У тебя же нет папы.

– Нет, есть! – сердито выкрикивает Филька и съеживается, испугавшись собственного голоса.

– Да ладно тебе, – фыркает Ольга. – Спите вдвоем в одной комнате, а вторая стоит запертая. Глупо как-то.

Она сует руки в карманы и приваливается к дверному косяку, небрежно скрестив ноги. Смотрит поверх Филькиной головы – на окно, за окно, терпеливым, тяжелым, взрослым взглядом. Филька краснеет.

– Сама ты глупая, – огрызается он. Мнетя, тихо добавляет: – Он иногда там бывает. Я слышу, как он ходит.

Яна вскидывается, прислушивается: нет, ничего. В старом доме стоит теплая, перепрелая тишина, как стежками пронизанная едва различимым хныканьем соседского младенца. Яна вдруг понимает, что шаги доносились с другой стороны. С той, где находится запертый кабинет Филькиного отца.

– У него там всякие нужные книжки, – шепотом говорит Филька. – И блокноты. Я иногда захожу, беру почитать, когда дома никого. Ну, совсем никого, и его тоже, понимаешь? У него там всякое... про обычаи и про индейцев... про то, как они узелками писали. Целая книжка...

– Так ты это из книжки взял? Тогда зачем мы мучились, список слов делали и все такое? – возмущается Ольга. Филька сердито дергает плечом:

– Так у них там все больше про убитых врагов, золото и кукурузу с курицами.

– Скучотища.

– И ничего не скучотища! Ну, про куриц – да, но у него там куча всякого еще, про всякие народы, и сказки, и мифы...

– Древней Греции которые? – спрашивает Яна. Ольга стучит пальцем по лбу:

– Конечно, а какие еще?

Но Филька качает головой:

– Нет. То есть и они тоже, но это фигня, это я еще в первом классе в библиотеке взял. А у него всякие... со всего мира. И еще... про колдунов всяких... ритуалы...

Яна чувствует, как ее нос вытягивается от любопытства. (... любопытной Варваре на базаре нос оторвали, говорит папа. Я тебе разрешал здесь рыться? у тебя свои книги есть, а эти – для взрослых.)

– Расскажешь потом про колдунов, – требует Ольга. – А зачем твоему папе такое?

– Ему для работы нужно, – объясняет Филька. – Он ученый. Этнограф. Он даже в Африку в экспедиции ездит.

Внезапно Яна понимает, что геолог – вовсе не самая лучшая профессия в мире, где есть люди, которые занимаются на работе сказками и колдунами и ездят для этого в Африку.

– А мама сказала, что твой папа в тюрьме сидит, – подозрительно хмурится Ольга. – Он с ума сошел, убил на площади собаку и голый вокруг танцевал, вот его в милицию и забрали.

Яна кивает. Папа рассказывал тетя Свете эту историю, когда думал, что Яна с Лизкой уже спят, – только он говорил, что Филькин папа в тюрьме не остался. Он то ли умер там, то ли просто исчез, – Яна так и не сумела расслышать. Ей нравится думать, что он исчез. Растворился в воздухе прямо за решеткой...

– Может, он убежал, – говорит она, и Ольга упирается:

– Нет, сидит, мне мама сказала!

– А кто тогда в кабинете ходит? – насмешливо спрашивает Филька, и Ольга, сраженная, замолкает.

– Может, привидение? – осторожно предполагает Яна. – Ну... типа духа?

– Привидения только от мертвецов бывают, – неуверенно возражает Ольга, а Филька со знанием дела объясняет:

– Привидений не бывает. Бывают духи, про них в папиных книжках тоже есть. Но они в квартирах не водятся, только в сакральных местах.

– Каких-каких? – переспрашивает со смешком Ольга, и Яна тоже невольно ухмыляется.

– С-сак-ральных, – терпеливо повторяет Филька, и девчонки снова хихикают. – Дуры вы. Это значит такое особое место. Ну вроде кладбища. Там можно вызвать духов предков. Спросить у них что-нибудь, например. Или попросить защиты.

Все трое невольно поворачиваются к окну, из которого доносится гогот егоровской компашки.

– И что, дух прилетит к Егорову и скажет, чтобы он от нас отстал? – с сомнением спрашивает Яна. – Как-то по-дурацки. А если он не послушает?

– Да плюнь ты на Егорова, – перебивает Ольга, возбужденно подается вперед. – Это же дух! Он же всемогущий. Его на Люськарповну можно натравить, чтобы не орала и пары за контроши не лепила. Или вообще на твою тетю Свету насрать! – Ее глаза вспыхивают: – Мы вообще можем твою маму вызвать, чтоб она ей сказала!

– Ты чего... – слабо шепчет Яна. Нос вдруг становится горячим и как будто вырастает – предвестник накатывающих слез. – Так только хуже будет...

– Почему хуже-то?

Яна опускает голову ниже.

(Слеза щекотно натекает в уголок глаза, и Яна быстро стирает ее кулаком, чтобы не капать на домашку по математике. Нос забит, очень хочется прошмыгаться, но это будет слишком громко, – ее услышат, или она пропустит что-то важное. Лизка колупается за спиной со своими пупсами и пискляво, фальшиво тянет на одной ноте: «Ля-ля-ля, ля-ля-ля». Живые люди так дебильно не поют, Лизка просто притворяется, изображает маленькую девочку из мультика, которая изображает живую девочку: «Ля-ля-ля». Изображения изображений окружают Лизку, как надвинутые друг на друга половинки разбитых яиц. Яне хочется дать ей подзатыльник, чтоб заткнулась.

На кухне волдырем от ожога вздувается скандал. Голос тетя Светы – громкий и ровный, как бормашинка. Голос папы пока тихий и неразборчивый, но уже становится гулким, как из ведра. Скоро он взревет и начнет грохать кулаком по столу.

– ...поскакала – в поле ветер, в жопе дым! И эта твоя туда же.

– ...вот не надо про работу – она мать-одиночка, ее силой в поле не погнажи бы!

– ...был бы мужиком – не пришлось бы сажать на шею эту. «Конечно, Марьяночка, я посижу с ребенком, Марьяночка, иди гуляй...» Вы уже в разводе были, а ты к ней бегал. Этой прикрывался, пока я одна с Лизкой сидела...

– Ля-ля-ля, – говорит Лизка и жмет на живот резинового пупса. От оглушительного писка Яна подпрыгивает.

– ...просто на шашлык хотела, перед Алихановым жопой крутить! Эта твоя тоже через пару лет в подоле...

– Хватит! – рявкает папа. Глухо ударяет о стол кулак.

На несколько секунд повисает тишина. Яна перестает дышать – и Лизка тоже. Потом тетя Света снова начинает говорить – но уже тише, слов не разобрать. «Баю-бай, – заунывно тянет Лизка мерзко скрипящему пупсу, – баю-бай, я кому сказала!» Кухонная дверь распаивается. Яна торопливо хватается забытую ручку, тычет ею в тетрадь, глядя сквозь страницу, но отец, ступая быстро и тяжело, сворачивает в прихожую. Взвизгивает молния на куртке. Бухает входная дверь.

Теть Света стремительным шагом влетает в комнату, и Яна начинает слепо выписывать какие-то иксы и игреки. «Ля-ля-ля», – снова заводит Лизка.

– Довольна? – ледяным тоном спрашивает тетя Света. – Опять из-за тебя поссорились. Нравится тебе, да?

Яна чередует иксы и игреки, как попало впихивая среди них цифры. На носу набухает капля, вот-вот свалится на тетрадь. Все равно переписывать.

– Пошла вон отсюда, – говорит тетя Света.

Яна хватая учебник с тетрадью и боком выскакивает из комнаты.)

– Ты не понимаешь, – говорит она Ольге. – Так нельзя...

– Чего нельзя?

– Ну... ябедничать...

Ольга осекается, растеряв всю воинственность, и задумчиво хмурится. Филька оседает, как сдувшийся воздушный шарик, сколупывает с подоконника чешуйку краски и вдруг оживляется:

– Не, погоди! Это же дух. Это ведь не то же самое, что училке рассказать или бабушке.

– Вот именно! – подхватывает Ольга. – Он же ненастоящий. Ты же не стучать ему будешь, а колдовать, правильно, Филька?

Тот нерешительно кивает. Яна упрямо мотает головой.

– Все равно... – Она с сомнением смотрит на Ольгу, и ее осеняет: – Тебе же не нужно никакой защиты, у тебя мама добрая, и Егорова ты можешь побить без всяких духов! Тебе просто поколдовать охота!

– А вот и нужно! – упирается Ольга и презрительно кривит губы: – Да тебе просто слабо. Это же надо на кладбище ночью идти, да, Филька?

– Необязательно ночью, – серьезно отвечает Филька. – И духи не являются кому попросишь. Что, думаешь, пожаловалась, и он такой полетел наругать, кого скажешь?

– Ну да. Прилетает такой и... – Ольга делает зверское лицо, трясет указательным пальцем и закатывается от смеха. При виде вытянутого пальца Яну тоже разбирает; не выдержав, она прыскает и зажимает рот ладонью.

– Чего вы ржете? Это опасно, между прочим. Сделаешь что-нибудь не так – дух тебя с собой утащит. Или вообще растерзает.

Ольга закатывает глаза и разводит руки, тянет: «У-у-у». Но Яну вдруг продирает ледяной холод.

– А если сделать все правильно – что тогда? – тихо спрашивает она. – Не, серьезно?

– Может, он сделает так, чтобы от нас просто отстали. – На мгновение лицо Фильки становится мечтательным, но быстро мрачнеет. – Только мы на кладбище не попадем, нас по-любому застукают. Так что это все просто треп.

Яна прикидывает: кладбище где-то за городом, с западной стороны. Наверное, Ольга знает, как туда попасть, она знает кучу всяких взрослых вещей. Яна поднимает глаза, смотрит на подругу. Та беззвучно шевелит губами, решительно качает головой.

– Туда, наверное, часа три идти, – говорит она. Филька тоскливо вздыхает:

– Три туда, три обратно... И там хотя бы час... Если я на семь часов уйду – у бабушки инфаркт будет.

– Давай скажем, что поход с классом, – предлагает Ольга.

– Ага... она класснухе начнет названивать, узнавать.

– А давай...

Яна отключается. С кладбищем, конечно, ничего не выйдет, но Филька сам сказал, что это только пример. Он сказал, что нужно нехорошее место, и Яна такое знает. Странное место, страшное место, подписанное иероглифами-паучками.

Только рассказывать о нем совсем не хочется.

...Где-то в восемь вечера тетя Света смотрит на часы и говорит, что по-хорошему Яна должна играть гаммы всю ночь, но – хватит издеваться над соседями, пусть займется сольфеджио. Верхний свет выключен; горят лишь торшер в углу и настольная лампа на столе для уроков. В их теплых пятнах маленькая комната, в которой тетя Света и Лизка спят, а Яна делает уроки, кажется одновременно уютной и страшной. Яна наощупь убирает скрипку – целую, не разбитую, чудом не пострадавшую в драке – в чехол, открывает нотную тетрадь с заданиями на лето, пытается примоститься на стул боком, чтобы не давить на горячие, вздувшиеся полосами синяки на попе. Ничего не получается, и в конце концов Яна залезает на стул коленками. Она ждет окрика, но тетя Света молчит. Яна надеется, что она уйдет, но та остается в кресле, которое на ночь раскладывается в Лизкину кровать, с раскрытой книгой на коленях. Это – «Гадкие лебеди» Стругацких; на двадцатой странице Яна оставила пятно, когда, зачитавшись, схватилась за нее испачканными конфетой пальцами. Но, кажется, тетя Света ничего не заметила – книга прочитана уже до середины, а она так ничего и не сказала. Ее присутствие ощущается ноющей болью под левой лопаткой, в сведенной от напряжения мышце. Нотные строчки пляшут перед глазами. Из всех сил нажимая на карандаш, Яна транспонирует «Перепелочку». Ненавистная заунывная мелодия преследует ее с подготовительного класса.

Она почти заканчивает, когда приходит папа. Тетя Света идет его встречать, но Яна в коридор не выходит – только еще яростней тычет карандашом в линейки нотного стана. Она различает три голоса – папа пришел не один, с дядей Юрой, и тетя Света зовет его выпить чаю. Минуту Яна надеется, что он согласится, а то и останется на ужин, а если совсем повезет – засидится с папой до ночи за бутылкой. Но дядя Юра отнекивается даже от чая, забирает какие-то брякающие железки и уходит. «Так договорились на послезавтра?» – спрашивает папа уже в подъезд, и дядя Юра угукает в ответ. Эхо прокатывается на лестничной клетке; папа захлопывает дверь, отсекая гул и уличную прохладу. Запертые в тепле

звук становятся плоскими и тусклыми, как детсадовская аппликация из облезлой бархатной бумаги.

– Эта опять опозорилась, – доносится из коридора. – Хоть бы ты с ней поговорил, может, дойдет. В конце концов, это твоя дочь.

Вскоре отец заходит в тетя-Светину комнату. Яна не поворачивает головы; она узнает, что он здесь, по звуку, по запаху, по тени, упавшей на стол. От папы пахнет табачным дымом и машинным маслом: «Нива» опять барахлит, и он весь вечер возился в гараже. Папа с тяжелым вздохом садится в кресло, и пружины жалобно всхлипывают под его весом. Он подбирает с пола дневник, который так и валяется там, куда его швырнула тетя Света. Яна слушает, как шелестят страницы. Слушает, как папа вздыхает, покашливает, возится, устраиваясь поудобнее.

– Как же так, – говорит он грустно, и из глаз Яны прямо на тетрадь начинают капать слезы. Какая-то ее часть отстраненно рассматривает влажные пятна на бумаге – круглые, как монетки.

– Ну что ты сразу реветь начинаешь, – с досадой говорит папа. – Напортачила – отвечай, что теперь рыдать? Мы из шкуры вон лезем, чтобы сделать из тебя человека, ты бы хоть немного постаралась!

Мокрые пятна на тетрадном листе расплываются, выпускают короткие лучики-колючки. Мохнатые, словно репейники. Если смотреть достаточно пристально, колючки начинают шевелиться.

Папа громко захлопывает дневник.

– Будешь все лето заниматься по пять часов в день. И не смей обижаться на Светлану – ей, как женщине, виднее, как тебя воспитывать. Она добрейший человек, она все для тебя делает, и ни капли благодарности. Да прекрати ты свои крокодильи слезы лить! Надо же быть такой актрисой...

Он барабанит пальцами по подлокотнику, покашливает, прочищая горло.

– А может, ты просто не хочешь учиться в музыкальной школе? – сочувственно спрашивает он.

Яна поворачивается к нему так резко, что едва не падает со стула. Глаза почти вылезают из орбит. Сердце замирает – а потом несется вскачь от дикой, исступленной надежды.

– Не хочешь категорически, да?

Яна медленно, едва заметно кивает. Папа тяжело вздыхает.

– Ну ладно, – говорит он. – Хочешь быть серостью – ладно, ничего не поделаешь. Раз ты настолько не любишь музыку – можешь бросить. Жалко, конечно...

Яне хочется улыбаться во весь рот, хохотать, прыгать с визгом и воплями, – но она только бледно улыбается, пытаясь выразить одновременно и благодарность, и сожаление. Вряд ли у нее хорошо получается – но папу, видно, устраивает: он удовлетворенно кивает.

– Хорошо, завтра я позвоню Ирине Николаевне и скажу, что ты больше не будешь учиться. А ты становись в угол. Что ты вылупила глаза? Без музыкальной школы у тебя освобождается масса времени. Делать тебе все равно нечего, значит, будешь это время стоять в углу. А ты на что рассчитывала? Целыми днями валяться на диване? Или собиралась болтаться с пацанами по подвалам? И хватит рыдать! – рявкает он и бьет кулаком по подлокотнику. – Тоже мне, страдальца нашлась! Марш в угол!

Яна заторможенно сползает со стула и бредет к углу. Она двигается медленно, как во сне, когда понимаешь, что все вокруг – неправда, не может быть правдой. Она даже не слышит – чувствует спиной, как кричат пружины, когда папа встает из кресла; густой воздух шевелится, расступаясь от его движения. Рядом скрипит половица; спину мгновенно сводит, и Яна вжимает голову в плечи, но папа просто молча выходит из комнаты.

Через полчаса Яна понимает, что все это не может происходить на самом деле, но – происходит. Ближайшие несколько лет ее жизнь будет проходить в углу, лицом к стене. Это настолько дико, что она не может даже плакать и тупо рассматривает завитушки на бежево-желтых обоях, щели между досками на

полу, приоткрытую дверцу шкафа. Одна из полок – чуть ниже уровня глаз. Если положить туда книжку, будет даже удобно. Яна протягивает руку, пытается оценить движение – пожалуй, получится незаметно листать ее, даже когда тетя Света сидит в своем кресле. Главное, спрятать книжку на полке заранее, пока тетя Света с папой на работе. Тут до Яны доходит, что, когда они на работе, она может спокойно выходить из угла. И даже из квартиры. Во дворе, конечно, не погуляешь, – донесут, но ей и не надо. А в лесу ее никто не застукает, так что все не так страшно. Правда, есть еще вечера и выходные...

Быстрые шаги. Прохладное дуновение. Запах пудры и жареного лука.

– Иди есть, – бросает тетя Света с порога.

– Все еще хочешь бросить музыкалку? – спрашивает папа, когда Яна садится за стол и начинает запихивать в себя макароны. – Или все-таки хочешь быть образованным человеком, а не шпаной подзаборной?

Яна сглатывает и торопливо кивает, глядя прямо перед собой.

– Чтоб через неделю все, что задали, от зубов отскакивало, ясно? – говорит папа. – Я проверю.

Яна снова кивает и сует в рот новый макаронный комок.

Когда отец начинает храпеть, Яна тихо встает с дивана, достает из-под подушки покрытый значками и надписями тетрадный листок и крадется на кухню. Сует руку в щель за холодильником, забитую мешком со стиранными пакетиками, запасом тряпок, старыми сковородками. То, что ей нужно, засунуто так глубоко, что приходится распластаться вдоль стены и отвернуть голову, чтобы не мешала втискивать за холодильник напряженно вытянутую руку и плечо. В конце концов кончики пальцев задевают мягкое, колючее, и Яна извлекает из тайника мотки изжелта-серых, черных и рыжих ниток, грубо спряденных из собачьей шерсти. Отматывает куски, оборачивая нить вокруг локтя, – по одному обороту должно хватить, – а остальное запихивает обратно. На минуту задумывается, пропуская колючую шерсть через пальцы, и, поглядывая на шпаргалку, начинает вывязывать узлы.

«Знаю», «место», «говорить», «вчера», «пойдем». «Завтра», «выходи».

Она рассматривает полосу из узлов, думая, что бы еще добавить. Отчаянно зевает, поджимает пальцы на босых ногах – от холодного пола ступни совсем заledenели. Кажется, все уже сказано. Яна возвращается в кровать, сует шпаргалку и узелковое письмо под подушку и наконец засыпает.

7

...Филька торжественно наливает заварку в три изумительные чашки, у которых снаружи – лишь золотой ободок, зато внутри цветут пышные, мохнатые цветы. Он доливает кипяток, и цветы проступают сквозь белую поверхность чашек. В них красота и тайна. Яна никогда таких не видела. Ольга, наверное, тоже: она рискованно наклоняет чашку, и тень цветка на внешней стороне то исчезает, то появляется вновь. То, что Яна хочет найти, живет на изнанке этого мира, и надо налить воду, чтобы оно проступило. Вот что предлагает Филька: налить воду в расписанную изнутри чашку.

Филька подвигает вазочку с «морскими камешками», среди которых затесался одинокий фантик от шоколадной конфеты, и взгромождается коленками на табуретку. Машинально бросает в рот «камешек», с хрустом разгрызает. Ольга отрывается от игры с чашкой.

– А как мы узнаем, которое из озер – Коги? – спрашивает она, и Яна обвисает на стуле, как будто ей врезали по затылку.

Земля между городом и морем смотрит на небо десятками круглых, глубоких карих глаз. Среди них есть большие, есть – маленькие, но все они безымянны. Яна знает только Первую бухту (которая и не озеро вовсе) и Пионерку (слишком близкую к городу, неинтересную, загаженную до мутной прозелени). Названия других озер – неизвестны. Между собой они зовут их «это, с ручьем с прилипами», или – «где ловили бурундука», или – «то, горелое». Любое из них может оказаться Коги. Им никогда не узнать – какое.

– Может, на карте посмотреть... – тянет Ольга. – У меня есть атлас СССР. Большой.

Филька насмешливо фыркает. Яна качает головой. В атласах город О. обозначен крошечным кружочком, притертым к берегу моря, а то и вылезающим за край

земли. Вокруг него закрашено ровно и плоско. Для большого, настоящего мира не существует ни озер, ни сопок, ни петлями врезанных в побережье заливов. Яна думает о том, что все, что важно в ее жизни, происходит на белом пятне. Нигде. По ее заливку пробегает мурашки.

Правда, есть и другие карты. Яна видела их, когда папа писал кандидатскую. Поздним вечером он закрывался на кухне, и Яне нравилось ненароком заглянуть туда перед сном, уже умытой и в пижаме. Чтобы оправдать вторжение, она налила стакан воды и пила маленькими глотками, наблюдая, как папа тычет в клавиши указательными пальцами в завитках рыжей шерсти.

Печатная машинка сухо и строго трещала в ответ. По левую руку папа ставил пепельницу, спички и пачку «Примы». По правую – кружку с растворимым кофе из жестяной коричневой банки. Печатная машинка с матово лоснящимися, как спинки жуков, клавишами стояла посередине. В нее заправлялись два листа тонкой сероватой бумаги, проложенной восхитительной фиолетовой копиркой. В воздухе висели пласты едкого дыма, похожие на детсадовские байковые одеяла.

Распухшие замурзанные блокноты, толстые прошитые стопки отчетов и диссертаций, журналы, фотографии камней и окаменелостей (обязательно с приложенным геологическим молотком) папа раскладывал на столе. Карты – расстилал прямо на полу. Разноцветные карты с множеством линий и пятен, испещренные таинственными значками. Сплошь синие и голубые карты, на которых земля – лишь береговая линия и белое пятно, уходящее за край. И обычные, понятные карты, на которых город О. – огромен, а Первая бухта – просто гигантская. Надписей на них так много, что кажется – у каждой кочки и лужицы есть свое имя. И почти на каждой карте большими серыми буквами в прямоугольной рамке напечатано: «Секретно». Или большими блекло-красными буквами: «Сов. секретно».

Яна топталась на кухне, пока папа не отрывался от машинки и не произносил свое коронное: «Кх-кх» – знак, что пора испариться. Но иногда ей везло. Иногда папа вставал, потягивался, громко хрустнув позвоночником, ставил на плиту чайник и начинал рассказывать о жутких чудесах, творящихся на земле и под землей. О чудовищных силах, сминающих земную кору, как тонкую ткань. О миллиардах больших и маленьких животных, живущих, умирающих, разлагающихся, черной кровью стекающих на дно земных складок. О времени, в масштабах которого их жизнь – песчинка рядом с Солнцем. О кипящих котлах магмы, на поверхности которой плавает, как пенка на кипяченом молоке, земная

твердь... Он говорил, пока на кухню не заглядывала мама. Она стучала пальцем по запястью. Спрашивала: «Репетируешь защиту?» Говорила: «В садик ее завтра ты будить станешь?» Говорила: «Бегом спать!»

И карты. Он показывал карты, объяснял, что к чему, что значат эти линии, и разноцветные пятна, и значки. Разрешал ползать среди них, разложенных по полу, рассматривать, сравнивать, изучать. От причастности к тайне сладко перехватывало дыхание.

– Такие карты, как надо, только в институте есть, – говорит Яна вслух. – Как мы их достанем?

Филька вдруг перестает складывать гармошкой конфетный фантик.

– А может, и достанем, – загадочно сообщает он и осторожно оглядывается по сторонам. На кухне нет никого, кроме них троих: Филькины мама и бабушка еще на работе. Но на всякий случай он переходит на шепот: – Вот что... у вас деньги есть?

Яна растерянно лезет в карман кофты, достает грудку мелочи.

– Вот... двадцать шесть копеек. Я забыла сдачу отдать, но, наверное, тетя Света уже не вспомнит, почти неделя прошла.

– У меня рубль есть, – с хмурым вызовом говорит Ольга. – Чего вылупились, мне мама дала! Чтобы я еды купила, если она не успеет и дома ничего не будет. А у тебя сколько?

– У меня несколько. Бабушка считает, что деньги портят. – Филька краснеет и торопливо добавляет: – Я могу попросить, но придется сказать, на что.

Яна стучит пальцем по лбу.

– А на что? Может, и так хватит? – неуверенно спрашивает Ольга.

– На карту, конечно.

Мысль о том, что карту можно просто купить в магазине, потрясает. Но что-то и царапает, не дает обрадоваться до конца. Филькина идея плохо сочетается с красными штампами на полях папиных карт. Яна ерошит ладонями обстриженные ровным кругом волосы, и они тут же встают дыбом.

– А где мы ее купим? – спрашивает она.

– В книжном?

Предположение Ольги кажется логичным – ведь и атласы, и контурные карты для уроков продаются именно там, – и Яна напрягается. В книжном работает мамина подруга. Она обязательно прицепится. Яна уже собирается сказать, что никуда не пойдет, но Филька с загадочным видом качает головой.

– В книжном такого не дают, – говорит он важно. – Мы пойдем в «Топографическую продукцию». – Он смотрит на часы, беззвучно шевелит губами, что-то вычисляя. – Если сегодня – надо прямо сейчас идти, а то бабушка застучает, что меня нет.

Небольшой ангар, выкрашенный красно-коричневой краской, отступает от улицы Ленина в глубину квартала. С одной стороны его подпирает здание почты, новое, нарядное, с квадратными колоннами белого камня, похожего на прессованный сахар. С другой стороны высокая ограда и за ней – густая ольха и лиственничный сквер, скрывающие от лишних взглядов четвертую школу. К ангару ведет тропинка, выложенная плитками. В их стыках проросла аптечная ромашка, края замыло черным пахучим торфом. На виду остались только светлые серединки, да и те почти скрылись под ползучими стеблями.

Найда провожает их до середины тропы, а потом садится поперек дороги, нервно и длинно зевает и принимается самозабвенно выкусывать под задней лапой. Жестяная вывеска с загнутым углом гроыхает и дребезжит, когда Яна, Ольга и Филька подходят к двери. Слова «Топографическая продукция» едва заметны, а часы работы и вовсе невозможно рассмотреть. Ветер слишком долго тер их песком и солью.

– А туда вообще можно? – спрашивает Яна.

Тяжелая деревянная дверь закрыта. Может, даже заперта. Она совсем не похожа на дверь, в которую может войти любой желающий. Яна надеется, что Филька скажет: да я сто раз здесь был. Но он молчит. Ольга, засунув руки в карманы и нахохлившись, рисует носком кеда замысловатые завитушки. Еще немного – и она дернет плечом и скажет: «Айда отсюда». Они никогда не узнают, где искать Коги.

Ольга отшвыривает кусок вывернутого дерна, поднимает голову, готовая произнести неизбежные слова, и Яна отодвигает ее плечом. Тянет на себя ручку. Железная скоба больно впивается в ладонь, но дверь не двигается с места. Яна повисает на ней всем телом; ей уже кажется, что усилия напрасны, и тут дверь слегка поддается. В узкой щели клубится темнота. От неожиданности Яна отпускает ручку и отступает на шаг.

– Открыто, – говорит она шепотом.

Филька первым протискивается в щель. Яна входит за ним; Ольга беззвучно проскальзывает последней и замирает на пороге.

В ангаре не так уж темно. Свет серыми полосами пробивается в узкие окна под потолком, но после улицы кажется, что все, кроме этих полотнищ, заливают темнота. Пахнет старой бумагой, мелом и почему-то печеньем. Яна моргает, и из полумрака проступают внутренности ангара. Они похожи на коридоры в папином институте: те же заваленные бумагой шкафы из потемневшего дерева, уходящие ввысь, тот же тусклый свет из-под самого потолка. Те же тишина и безлюдье – только доносится с улицы тоскливый скрип вывески, и негромко посвистывает ветер, задувающий в щели под крышей. Свернутые в рулоны карты – как отбеленные временем кости больших и неуклюжих животных. В глубине ангара виднеется прилавок. Рядом с кассой стоит несколько глобусов, и целые ряды глобусов выстроились на стеллаже за спиной продавца. Человек за прилавком слегка напоминает ворону – темный, сутулый, носатый. Он кажется Яне знакомым. Может, она видела кого-то похожего в институте, – кого-то, кто, сидя в ущелье между шкафами, разбирал за маленьким столиком ящик с образцами.

– Здравствуй, Филипп, – говорит человек за прилавком, и Филька вздрагивает всем телом. – Эти девочки – твои друзья? Заходите, не стесняйтесь.

– Откуда вы меня знаете? – хрипло спрашивает Филька.

– Я дружил с твоим отцом, – отвечает человек за прилавком. Филька сглатывает, и что-то отчетливо хрустит в его горле.

– Врет он все, я вспомнил, я его в библиотеке видел, – жарко шепчет он. Человек-ворона слышит его – и улыбается.

– Ты с кем-то меня путаешь.

Он выходит из-за прилавка, смотрит на Фильку, склонив голову набок. В стеклах очков отражается пыльный свет.

– Я помню тебя совсем маленьким. Ты любил есть столичные пельмени, держать бабушке нитки, когда она сматывала клубки, и рассматривать отцовские зарисовки. Я часто бывал у вас дома. Ты так внимательно слушал разговоры взрослых, что казалось – все понимаешь...

– Я не помню, – грубо говорит Филька.

– Ты, наверное, по нему скучаешь.

Опустив голову, Филька переминается с ноги на ногу. Наверное, сбежал бы, если бы девочки не подпирали спину. Яну крючит от неловкости и сочувствия. Продавец собирается сказать что-то еще, но Ольга, успевшая заскучать, берет дело в свои руки.

– А можно нам карту? – спрашивает она, просунувшись из-за Фильки. Человек-ворона встряхивается, – Яна почти слышит треск маховых перьев.

– Пожалуйста, – он обводит рукой шкафы. – Какая именно карта вам нужна? У меня найдется любая.

У Яны зудит между глазами. Все здесь неправильно. Неправильные шкафы в полумраке. Неправильное лицо продавца – доброе и чуть насмешливое, будто он рассказывает веселую историю своим друзьям. И слова он выбирает неправильные. Не те. Яна в панике косится на Фильку, но тот с отсутствующим

видом рассматривает шкаф. На полках нет ничего, кроме помятых на торцах рулонов карт, свернутых так плотно, что видно только линейку параллелей да кусочек бледного океана. Филька что-то напутал. Это место – не магазин, не может быть магазином. Человек-ворона тоже напутал. Наверное, принял их за кого-то еще, за тех, кто имеет право зайти сюда и попросить карту. Он скоро поймет, что они – всего лишь самозванцы.

– Нам нужна карта с озером, – говорит Ольга. – С этим, как его...

Яна, спохватившись, наступает ей на ногу. Ольга машинально отвечает локтем в бок – острая косточка больно вонзается под ребра, – но замолкает.

– Каким-каким озером? – щурится продавец.

Яна сосредотачивается, сосредотачивается изо всех сил.

– Нам нужна карта северо-восточной части О-ского района, – отчетливо говорит она. – Километровка.

Она зажмуривается в ожидании отказа, возмущения, обвинения в наглости и предложения закатать губу. Перед глазами вспыхивают красные буквы: «Сов. секретно».

– Какая точность, – весело говорит человек-ворона. – Придется поискать...

Яна открывает глаза. Продавец исчез. Ольга с Филькой посматривают на нее с испуганным уважением. Смутившись, она подходит поближе к прилавку: глобусы, многочисленные, как капуста на грядке, притягивают, как магнит. Тоже неправильные. Нетакие.

На двух из них Яна узнает очертания Пангеи, знакомые по папиным книгам. Еще на одном, кажется, нарисована Гондвана. Не приблизительный контур – подробный рисунок с горами, реками и кружочками больших и маленьких городов, подписанных иностранными буквами. На других глобусах – таких же подробных – очертания материков и вовсе невиданны. Их то больше, то меньше, они большие и маленькие; одни похожи на те, что есть на любой карте, и отличаются лишь в мелочах, другие же не имеют ничего общего с Землей. Яна

облизывает пересохшие губы. Глобусы пугают ее до паралича. Ольга крутит один из них – под ладонью скользит многотысячный архипелаг, растянутый на всю планету, и сползшая на южный полюс Африка. «Чепуха какая-то», – шепчет Филька, и Яна понимает, что ему тоже страшно. Может быть, даже страшнее, чем ей.

Продавец, про которого они почти забыли, вырастает над прилавком так неожиданно, что Филька тихо вскрикивает. В руках у человека-вороны тонкая бумажная трубка. Он небрежно сдвигает глобусы в сторону и раскатывает ее по прилавку.

Карта очень похожа на ту, что показывал папе Пионер, только цветная, и вместо японских закорючек на ней – понятные надписи на русском. На поле справа вверху – штамп в серой рамке. Шрифт мелкий и бледный, будто тот, кто ставил печать, не был уверен в том, что делает, и давил вполсилы: «Цена:». Уголок карты завернулся, и цифр не видно.

– Это секретная карта, – говорит человек-ворона. – Ее никому нельзя показывать. Никому. Никогда. Обещаете?

Яна кивает, не веря своим ушам.

– Мы никому не скажем, – беспечно соглашается Ольга, не чующая подвоха. – Почему она?

Вот. Вот сейчас. Сейчас он скажет: «Карта не продается». Или – «это не для детей». Или – «покажите справку, что вам можно...»

Или просто скажет, например: сто пятьдесят рублей. А потом накричит, что они ходят по магазинам без денег и отвлекают его от работы.

Но им нужна эта карта. Яна быстро оглядывается на дверь. Если схватить ее и рвануть...

Человек-ворона разглаживает уголок, прикрывающий штампик с ценой.

– Двадцать семь копеек, – весело говорит он.

Яна медленно достает горсть мелочи и высыпает на блюдечко у кассы. Потом так же медленно лезет в другой карман. Шарит в узком, едва пролезть пальцем, углу, колючем от песка и сора. Нашупывает монетку, про которую, оказывается, помнила с тех пор, как не вытащила ее перед стиркой прошлой осенью. Это по-прежнему копейка, пусть почерневшая и покрытая прозеленью. Не выпала ни в машинке, ни в шкафу, ни когда Яна бросала кофту где попало, бегала, висела вниз головой на стланиковой ветке...

Она добавляет монетку к тем, что уже лежат на блюдце. Человек-ворона грохочет кассой. Ловко сворачивает карту обратно в тугую трубочку, оборачивает концы обрывками газет (на один конец уходит страничка из «Нефтяника», на другой – из «Литературной газеты»). Подсовывает чек под край. Почти силой всовывает в онемевшие пальцы Яны.

– Спасибо, – говорит за нее Филька.

Яна сбавила шаг, на ходу приложила ледяную ладонь к горячей щеке. Она ожидала неловкости. Была готова к тому, что детская дружба давным-давно канула в расщелину времени, на дне которой пыльной горкой битого цветного стекла лежат старые привязанности, и расколотые сердца, и разлетевшееся вдребезги восхищение. И холод могла предположить, тянущую прохладцу, неизбежную между людьми, уже четверть века как идущими своими дорожками. Но напугать? Не она. Не Ольгу.

Прохожие на Яну поглядывали – ее рыжая масть всегда и везде привлекала внимание, – но без особого любопытства. Она не сознавала, куда идет, и только теперь обнаружила, что успела пройти половину улицы Ленина. Главная городская улица сработала как центр притяжения: больше в О. идти было некуда.

Конечно, можно еще пойти из города... но для этого пока было рано. Как в тот, самый первый год в новой квартире. В новой жизни, подsunутой Яне взамен ее настоящей.

Она не могла вспомнить, когда впервые перебежала дорогу. Поначалу только смотрела в окно. Рыжая грунтовка, опоясывающая город, казалась непреодолимой границей. За ней болотистые пустоши переходили в сверкающие кварцем сопки, разделенные синими языками заливов, – далеко, далеко на

север, до самого перешейка, перекрытого тремя настоящими горами, снег с которых сходил только в июле и уже к августу появлялся вновь. На западе темнела гуща лиственничной тайги и тополевых лесов, изъеденных желтыми, сочащимися черной кровью нарывами месторождений. На востоке рыжая нить дороги вела к военным локаторам, чьи решетчатые уши настороженно вращались на фоне неба, и дальше – к морю. Зимой море было изумрудно-зеленым, густым, неподвижным. Весной и осенью – белым от вскипающего у берега прибоя. Летом – цвета стали, цвета ножей.

Яна смотрела в окно, и город оставался на юге, за спиной, – невидимая россыпь выбеленных штормами пятиэтажных плашек. За спиной оставались школа, музыкалка, двор, недра ненавистной квартиры. Тетя Света и Лизка. И папа тоже оставался за спиной. Сделать последний шаг, перейти границу, отрезать себя было так просто, так естественно. Но первое время она только мечтала, даже не думая, что это возможно на самом деле. Как будто должен наступить правильный момент. Как будто надо дождаться тайного сигнала. Послания от неведомых сил: пора.

И Яна медлила, пока однажды просто не обогнула дом вместо того, чтобы остаться гулять во дворе. Стремглав пробежала мимо помойки, где жирные крикливые чайки вели вечную битву с воронами. Перешла пустую, насколько хватало глаз, глинистую полосу дороги. И очутилась в другом мире.

Но этот мир оказался слишком велик для нее одной. Она не могла вместить его в себя. Должна была показать кому-то эти халцедоны, оранжевыми каплями сидящие в песке; ирисы, спрятанные в осоке на остро воняющем нефтью болоте у дальней оконечности бухты; кружево ягеля; красный узор брусничного листа, залитый, как стеклом, прозрачной водой цвета чая. Казалось, ее разорвет на части, если она слишком долго пробудет с этим миром наедине.

Надо было забыть о нем навсегда или сойти с ума, но она не сделала ни того, ни другого. Она не знала тогда, что чудеса, ставшие чьей-то общей тайной, проявляются, как картинка на погруженной в ванночку фотобумаге. Набирают силу. Отращивают зубы.

Яна замедлила шаги, высматривая, где бы присесть, покурить, подумать. Она шла вдоль облепленного рекламой здания главпочтамта, которое помнила новеньким и нарядным. Здесь можно было присесть разве что на бордюр, но чуть дальше, у церкви, между помпезными, но совершенно голыми бетонными

клумбами, виднелись лавочки. Обширное асфальтовое поле перед зданием окружала старая чугунная ограда, и по периметру еще сохранились деревья. Яна остановилась, будто споткнувшись, и из ее горла вырвался смешок.

– Конечно, – негромко пробормотала она. – Четвертая школа.

Прохожий чуть постарше Яны замедлил шаги, усмехнулся, кивнул. Их глаза встретились, и на мгновение Яна почувствовала себя заговорщиком, – но прохожий уже отвернулся, заторопился, ушел вперед. Яна же брела все медленнее, пока не остановилась на углу церковной ограды.

Узкий проход между почтой и чугунной решеткой зарос, от плитки не осталось и следа, и лишь по центру еще виднелось что-то похожее на проложенную в зарослях звериную тропу. Глядя на нее, Яна усомнилась, что магазин, где они когда-то купили карту, действительно существовал. Он больше походил на плод воображения трех разыгравшихся детишек. Ангар давно разрушился; тупик заканчивался грудой жести и балок, поросшей бурьяном, безликой кучей старого строительного мусора.

Оглядевшись по сторонам, – вроде бы никто не смотрит, – Яна нырнула в щель.

Изогнутые ошметки металлических щитов опасно щетинились ржавыми зазубринами, словно ангар вскрыли тупым консервным ножом, как банку с тушенкой. Яна попыталась сдвинуть с места один из обломков, и его край тут же впился в ладонь. Она, вскрикнув, выпустила железку. Жесть загрохотала по жести, и Яна машинально пригнулась, прячась за зарослями бурьяна. На глаза попался железный прут; орудуя им, как рычагом, Яна приподняла ближайший металлический лист, сама толком не зная, что хочет найти.

Старая вывеска лежала прямо под ним, вдавленная в землю, обрамленная отвратительно белесыми толстыми стеблями не выдавшей солнца травы. Старая краска вспучилась синюшными струпьями, но надпись все еще читалась. И, словно этого было мало, рядом с вывеской валялся глобус размером с футбольный мяч, с вмятиной там, где положено быть Тихому океану, – только вот на месте голубой пустыни извивался вытянутый вдоль экватора материк.

Яна ткнула его носком, и из лопнувшего шва поползли растревоженные светом влажно блестящие жуки. Передернувшись от отвращения, она осторожно

опустила лист на место и отряхнула руки. Магазин топографической продукции был невозможен ни в нынешнем мире, ни тем более – в том, старом, но он существовал. Она своими глазами видела доказательства. Порез на ладони болезненно пульсировал, подтверждая его реальность. А значит, и все остальное могло оказаться правдой. Например, то, что человек-ворона нашел ее, чтобы передать послание. И то, что это действительно послание, что она не увидела таинственные знаки в случайной тряпке, как некоторые видят лик Иисуса в облезлой штукатурке.

Но с этой сомнительной свалки пора было выбираться, пока какой-нибудь не в меру наблюдательный прохожий не заметил ее и не начал задаваться вопросами. Бросив последний взгляд на вывеску, Яна двинулась сквозь заросли обратно к улице.

Оглянувшись, она могла бы заметить обутую в резиновый сапожок ногу, торчащую из-под листа жести на самой вершине мусорной кучи.

Но она не оглянулась.

8

...Коги оказывается – «то, горелое». Они двигаются к нему гуськом, быстрым решительным шагом: это не обычное бездумное блуждание, у них есть цель. На выходе из города за ними увязался Мухтар, но полчаса назад он застрял у бурундучьей норы – Ольга даже звать его не стала. Иногда Филька останавливается, чтобы посмотреть на карту и компас, который Яна стащила из кучи отцовского снаряжения, хранящегося в темнушке. Это не так уж нужно; еще дома они хорошо рассмотрели карту и поняли, куда идти и какое озеро скрывается под именем Коги. Но если сверяться с картой, получается как в настоящей экспедиции. Идти по карте – намного интереснее, чем просто так; это – само по себе дело, за которым можно забыть, зачем они ищут это озеро.

Филька в очередной раз разворачивает карту, и ветер рвет ее из рук. Филька приседает на корточки; штаны туго обтягивают его, и становятся видны очертания блокнота, сунутого в задний карман. Это – записная книжка Филькиного отца. Филька так и не дал посмотреть ее, – только таинственно закатывал глаза, намекая, что там подробно написано, как надо колдовать.

Филька загораживает парусящий лист спиной, преувеличенно долго вертит, подлаживая под компас. Ольга опускается рядом, водит пальцем с обгрызенным ногтем по линиям высот, то и дело вскидывает голову, зорко оглядываясь по сторонам. Яна заглядывает через их плечи, пока не начинает злиться. Думают, это понарошку. Думают, это такая игра... Хочется встряхнуть Фильку за плечи и сказать, что он дурак и выпендрежник, а все на самом деле. Только ведь он согласится – на то и игра, чтобы все было по-настоящему. Можно сказать, что все правда-правда на самом деле, и он опять согласится. Они будут проваливаться сквозь слои правды и понарошечности и никогда не нащупают дна, а Ольга будет молчать и презрительно усмехаться, даже притворяться не станет.

Яна отворачивается, проводит рукой по мягко-колючей куртине шикши, срывает несколько прошлогодних ягод, черных и блестящих, как бусины. Бросает в рот. Прижатые к небу, ягоды лопаются крошечными лаковыми бомбами, и сладкий, уже чуть сбродивший сок растекается по языку. Филька встает и тщательно отряхивает колени.

– Вот оно, Коги, – говорит он.

Они стоят на лысоватой вершине сопки. Часть макушки, обращенная к морю, поросла невзрачными кустиками карликовой березы чуть выше колена высотой, и ничто не загораживает обзор. Пейзаж знаком – но Яна смотрит на него как в первый раз. Маленькое и глубокое, круглое, словно нарисованное циркулем, озеро лежит внизу. Ниже по склону мертво серебрятся скелеты стланика, погибшего в неведомом древнем пожаре. Как и большая часть окрестных озер, Коги врезано в моховые кочки мари, но дальняя часть берега – песчаная. Густые стланики укрывают от ветра крошечный пляж с черным пятном старого кострища.

До Яны доходит, что именно там жарили знаменитые алихановские шашлыки. Ей даже кажется, что она заметила следы колышков, растягивавших палатки, в песке, – хотя и понимает, что это невозможно. Она почти видит, как мама по-турецки сидит у костра на куче лапника, смеется и прямо зубами срывает с шампура куски горячего мяса.

Кожа на затылке съеживается, словно от холода, и становятся дыбом волоски на хребте.

– Зыкински, – говорит Ольга. – Дров – хоть жопой жуй. Спички есть?

– Спички детям не игрушка, – важно отвечает Филька, и Яна заливается визгливым хохотом. Ольга тоже начинает смеяться. Филька скромно улыбается, кланяется, прижав руку к груди. Яна закатывается от деланого смеха, хватается за живот и валится на упругий кустарник.

Ольга вдруг резко замолкает.

– Атас! – шепотом вскрикивает она и падает в кусты рядом с Яной. Приподнимает голову, шипит: – Ложись, дурак!

Филька, недоумевающая, опускается на четвереньки.

– Ниже! – шипит Ольга.

– Куртку угваздаю, влетит... – огрызается Филька. Ольга с силой пригибает его голову, и он заваливается набок. – Чего привязалась?

– Там два мужика каких-то ходят, – отвечает Ольга и по-пластунски сдвигается на пару метров вперед.

Яна ползет следом. Твердые веточки березы скребут по одежде. Поравнявшись с Ольгой, она осторожно приподнимает голову.

Пляжик отсюда не виден – его загораживают несколько кривых лиственниц, растущих ниже по склону. Зато хорошо видно, как вдоль берега идут, настороженно поглядывая по сторонам, какие-то дядьки в брезентовых энцефалитках и сапогах-болотниках. Один – высокий и тощий, в синей вязаной шапочке-петушке. Другой – чуть пониже и поплотнее, в кепке. И оба – с ружьями. Обычные, в общем-то, дядьки. Они даже кажутся Яне знакомыми, но находятся слишком далеко, чтобы рассмотреть лица.

– На утку пошли, – со знанием дела шепчет Яна и хмурится: – Только сейчас не сезон... Браконьеры! – торжествующим шепотом выдает она. Филька скептически фыркает:

– Откуда здесь браконьеры? Это же которые на редких зверей из Красной книги охотятся.

– Да нет же. То есть да. Но те, которые не в сезон, – тоже. Сейчас нельзя, утки птенцов выводят, а они...

Ольга резко приподнимается.

– Тогда надо... ну, вспугнуть их? – шепчет она. – Как же... птенцы же... – Ее губы начинают дрожать.

Браконьеры уже скрылись за лиственницами, но, если хорошенько всмотреться, между ветвями можно различить два светлых пятна брезентовых курток: незнакомцы по-прежнему размеренно шагают вдоль берега, приближаясь к песчаной площадке. Филька тяжело вздыхает. Яна качает головой и берет Ольгу за локоть.

(Папа обтирает пистолет масляной тряпкой, убирает в кобуру и прячет в сейф. С грохотом запирает железную дверцу. В коридоре стоит почти собранный рюкзак. Мама на кухне складывает в стопку чистые отглаженные майки. Завтра папа уезжает в экспедицию, и они не увидят его целых три месяца. «Пап, зачем пистолет? – спрашивает Яна. – У тебя же ружье». – «Начальнику партии нельзя без пистолета. Ружье – на зверя. А это – от плохих людей. Сама понимаешь, места дикие...» Яна затихает, обдумывая новые сведения. В ее представлении дикие места – потому и дикие, что людей там нет, ни хороших, ни плохих. «Каких таких людей?» – спрашивает она. Папа пожимает плечами. «На кого нарвешься... Ээки, например, беглые. Или браконьеры. Мало ли опасного народу в тайге». Незнакомое слово «ээки» Яна пропускает мимо ушей; ей представляются дикие места, полные плохих людей, стреляющих в несчастных редких животных, и папа – совсем один, с таким маленьким пистолетом в руке. Глазам становится горячо. «Ну, чего скуксилась? – смеется папа. – Лето пролетит – и не заметишь». Яна мотает головой: «Не куксюсь, не куксюсь».)

– Ссыкуны вы, вот кто, – дрожащим голосом говорит Ольга и встает в полный рост.

Выстрел прокатывается по поверхности озера, больно бьет в барабанные перепонки и дробится о сопки. Испуганно крикают утки и, треща крыльями,

срываются с водной глади. Ольга, тихо вскрикнув, ничком падает обратно в кустарник.

С берега доносится длинная матерная фраза и переходит в невнятное бормотание: кажется, браконьеры спорят. Яна будто со стороны смотрит на Фильку: тот пытается ползти, но упругий кустарник хватает его за рукава, полы куртки, штанины. Слышно, как трещит, разрываясь, ткань. Мокрое лицо Фильки искажается от отчаяния. Он приподнимается и, вжимая голову в плечи, с пугающей скоростью бежит к Ольге на четвереньках.

«Дома узнают – убьют», – равнодушно думает Яна и, согнувшись в три погибели, бросается к Ольге с другой стороны.

– Вам жить надоело? – хриплым шепотом орет Ольга и яростно отдирает от себя руки Фильки, который зачем-то трясет ее за грудки. – Нас теперь прибьют – пикнуть не успеете!

Она выворачивается, коротко бьет Фильку в лицо костлявым кулаком. Тот, утробно ахнув, хватается за нос и грузно плюхается на задницу. Яна нервно хихикает. Филька всхлипывает тонким голосом.

– Чего скулишь, как шизик? – звереет Ольга.

– Я думал, ты... тебя...

– Не меня, – Ольга закусывает губу, поворачивается к Яне. – Наверное, утку, да? Сволочи...

– Тихо.

Яна прислушивается, и, зараженные ее вниманием, Ольга с Филькой тоже замолкают. С берега по-прежнему доносятся голоса. Один, низкий и мучительно знакомый, бубнит неразборчиво, но успокаивающе. Второй – высокий, нервный, выкрикивает одну и ту же фразу, все громче и громче, и уже можно расслышать: «Да что ж это такое, Санек... Что ж это такое, Санек... Что ж это...»

Они переглядываются, пожимают плечами. Ольга показывает глазами назад, и Яна яростно трясет головой: не сейчас. Их слишком легко заметить. Яна шарит взглядом по стланику ниже по склону. Если бы удалось незаметно спуститься, они смогли бы уйти по зарослям... Или нет. Филька расшумится, да и движение веток может выдать: ветер, как назло, стих.

«Да что ж это такое, Санек!» – совсем тоненько выкрикивает браконьер. «А ну заткнулся! – неожиданно громко рявкает второй. – Валим отсюда!» С охотой явно что-то не заладилось. Все трое напряженно посматривают на берег, ожидая, что браконьеры вернутся тем же путем, что и пришли.

Шаги, раздающиеся почти под ухом, оказываются полной неожиданностью. Яна всем телом вжимается в березу, бросает быстрый взгляд на друзей: Ольга распласталась по земле и стала почти невидимой, а вот Филька... Филька торчит. Правда, его болотно-коричневая куртка почти сливается с темными березовыми листочками. Может, пронесет... Шаги все ближе; браконьеры быстро взбираются на сопку. Похоже, торопятся уйти кратчайшим путем. Изнывая от любопытства, Яна чуть-чуть, буквально на сантиметр приподнимает голову.

Она почти не удивляется. Походка, голос, одежда – все это казалось ей знакомым, потому что и было знакомым – до последнего движения, до едва уловимой интонации. Прижав ладонь ко рту, Яна смотрит, как папа, спотыкаясь о кустики березы, тащит под руку своего дядю Юру. Его редкие светлые волосы, обычно зачесанные поперек лысой макушки, встали влажным венчиком, щеки покрыты бурыми пятнами. Его скомканная кепка торчит из папиного кармана. «Да что ж это такое...» – стонет дядя Юра. «Идем, идем, у меня дома бутылка есть», – отвечает папа и плотно сжимает рот – как будто щелкает по клавишам пишущей машинки, печатая сложную статью. Веснушки, обычно почти незаметные, похожи на ржавые брызги на побелевшем лице.

Яна лежит, зажимая себе рот, и слушает удаляющийся шорох кустов, пока на ее плечо не опускается тяжелая рука. Яна хочет заорать, но только хрипит и дергается. Ухо щекочет тяжелое дыхание, отдающее барбарисками.

– Это же твой папа, да? – шепчет Филька. Ольга смотрит с отстраненным сочувствием, и крылья ее носа подергиваются, будто она принюхивается к ветру.

Шелест кустарника, уже было совсем стихший, вдруг начинает быстро приближаться – браконьеры бегут обратно, путаясь ногами в березе. Троица, не сговариваясь, бок о бок валится на землю. Филька придавливает Яну плечом; она чувствует мелкую дрожь, но не может даже разобрать, кого из них трясет.

– Да стой ты, в рот тебе пароход! – орет ее отец, и Филька начинает беззвучно хихикать. Яна вдавливает локоть ему под ребра, но это не помогает. Филька содрогается, и по его щекам ручьями текут слезы. Ольга прикрывает лицо рукавом, как будто это сделает ее невидимой. Яна тоже хотела бы перестать смотреть, но не может. Точно так же она лет в пять смотрела на медленно кренящуюся над ее коленями кружку с кипятком.

Дядя Юра появляется первым. Он, похоже, уже устал бежать – лысина вся блестит от пота – и теперь идет быстрым шагом. Ружье раскачивается на плече, рисует в бледном небе черный веер. Дядя Юра то и дело спотыкается, падает, выставив руки, подскакивает со странной, неестественной упругостью, как кукла-неваляшка, и валится снова. Под ноги он не смотрит. Никуда не смотрит, хотя его светлые глаза широко открыты. Он быстрыми движениями языка собирает слюну, скопившуюся в уголках губ. Яну начинает тошнить.

Папа догоняет его, хватая за плечо, рывком разворачивает к себе. Дядя Юра поворачивается, как кукла. Его глаза устремлены в таинственную точку на горизонте. Руки болтаются, как чужие.

– Пойдем домой, – папа говорит почти спокойно. – Посидим, выпьем. Надо домой, нечего тут делать.

– Ты не понимаешь, – отвечает дядя Юра с убедительностью, которая кажется Яне ужасающей. – Надо проверить. Обязательно надо вскрыть и проверить.

Папу перекашивает, глаза влажнеют, а подбородок дрожит, морщится и уходит в сторону. Яна видела его таким, когда у них сломался холодильник, и пришлось выгребать из оттаявшей морозилки пакеты с разложившейся, почти жидкой рыбой. От воспоминания к горлу подкатывает. Не удержавшись, Яна громко рыгает и закрывает глаза в ожидании неизбежного конца. Она уже почти рада тому, что их сейчас найдут. Происходящее настолько страшно и необъяснимо, что она больше не может вынести ни минуты.

– Ты совсем ебанулся? – тихо спрашивает папа, и Яна снова широко открывает глаза. Он никогда так не говорит. Никогда. Но – сказал.

– Надо проверить, – повторяет дядя Юра, и папа сдергивает с плеча ружье и направляет дуло в ноги друга. («Оружие всегда заряжено, Янка, даже если ты видела, как я его разрядил, – говорит он, гремя ключами от сейфа. Расстеленные на полу в коридоре газеты покрыты пятнами крови и налипшими перьями. Шесть уток выложено в ряд, еще одну мама ощипывает над ванной. Отливающая драгоценной зеленью голова с широким клювом беспомощно болтается на тонкой шее. – Никогда не направляй ружье на человека, слышишь? Никогда».)

Ружье опасно лязгает, и дядя Юра перестает смотреть в никуда. Теперь он сосредоточен на папе. Сосредоточен и напуган.

– Ружье убери, – говорит он.

– Уберу, – кивает папа. – Как перестанешь валять дурака – так и уберу. Ну?

– Ладно, ладно, – дядя Юра поднимает руки. – Идем. Я просто думал, надо...

– И чтоб я от тебя такого больше не слышал, Юрик, – говорит папа, и его подбородок снова ведет.

– Ладно. – Дядя Юра молчит несколько секунд. Его глаза снова опасно устремляются в точку, висящую в небе над городом О. – Он вроде как... мелькал, – голос у него напряженный и слабый, как от боли. Папа чуть приподнимает ружье, и дядя Юра будто приходит в себя. Морщась, трет ладонью грудь. – Что-то ноет...

– Ты это брось, – встревоженно говорит папа. Дядя Юра прикрывает глаза и снова потирает грудь.

– Говоришь, бутылка есть? – спрашивает он.

– Две, – отвечает папа и вешает ружье за спину. – Идем уже отсюда...

Какое-то время они лежат и прислушиваются до гула в ушах, но различают лишь посвист ветра и отдаленные вопли чаек, кружащих над свалкой рядом с локатором. Спустя несколько минут Ольга говорит:

– Ушли.

Она встает и, как цапля, длинными движениями по очереди вытягивает ноги. Филька садится на корточки, вытирает бруснично-красную физиономию. Яна смотрит на них снизу вверх, как через толстое мутное стекло.

– Как думаете, что он хотел проверить? – спрашивает Ольга, и на ее лице проступает жадное любопытство. – Пойдем посмотрим?

– Не надо, – вырывается у Яны, и Филька, уже начавший было вставать, снова опускается на корточки.

– Не хочешь – как хочешь, а я пойду, – пожимает плечами Ольга и отворачивается. Филька, помявшись, поднимается и виновато косится на Яну. В отчаянии она хватается подругу за локоть.

– А вдруг там медведь? – говорит она. – Вдруг они медведя ранили?

Филька, вздрогнув, делает шаг назад, и Яна тараторит, захлебываясь словами:

– Он, наверное, неожиданно вышел, они выстрелили, он... ну, убежал, наверное, но раненые медведи опасные очень, вот они и убежали, и нам не надо ходить, нарвемся... – Яна останавливается, чтобы перевести дух. Это плохая история, и она ничего не объясняет, но другой она сейчас придумать не может. Яну осеняет: – А вдруг это ТОТ САМЫЙ медведь?

Филька бледнеет и отступает еще на шаг.

– Он бы рычал, – отрезает Ольга и выдирается из цепкой поросли березы на голую полосу песка, плавно сбегаящую почти к самой воде.

– Сволочь ты! – выкрикивает Яна ей в спину. Ольга оборачивается через плечо.

– А что такого? – спрашивает она, и Яна сжимает кулаки. Она не может объяснить, что такого, а Ольга не хочет понять – хотя могла бы. Кровь стучит в висках, требуя с визгом вцепиться в Ольгины волосы. Вместо этого Яна просто стоит, опустив руки. Может, Филька займет ее сторону. Может, Ольга не захочет идти к озеру одна.

Но Ольга больше не оглядывается: она упруго спускается по склону, и Филька, опустив голову, тянется за ней, как на поводке.

Еще минуту Яна ждет в дикой надежде, что они передумают. Кожа на лице онемела, словно она умывалась ледяной водой. Звуки кажутся далекими, свет – серым и слабым. Колени ватные, и, когда Яна делает первый шаг, нога резко подгибается, как отсиженная. Она едва не падает. Было бы здорово, если бы упала. Сломала бы что-нибудь или ударилась бы головой и потеряла сознание.

Она почти догоняет Фильку, когда Ольга вдруг взмахивает руками и срывается на бег – так резко, что Филька в изумлении останавливается, и Яна по инерции утыкается ему в спину. Пролетев последние несколько метров до песчаного участка, Ольга с размаху падает на колени. Мохнатые ветви стланика почти скрывают ее: видно только, как мелькают руки, когда она срывает с себя куртку, а потом – рубашку. Яна, обогнув застывшего в ступоре Фильку, тоже бросается бежать.

Он лежит на краю песчаной площадки, там, где Яна представляла себе мамину палатку. Волосы у него темные, а лицо – грязно-белое, словно остатки снега в июньском лесу. Яна уверена, что ни разу не встречала этого мальчика в городе, хотя по возрасту он может быть их одноклассником. Он дышит приоткрытым ртом, часто, как собака, и в темно-карих, как болотные озера, глазах – ужас и боль. Мальчик опускает веки, прижимает руки к животу, и сквозь его пальцы течет черная маслянистая жижа.

И он... мелькает. Яна трет глаза, с силой зажмуривается и снова распахивает веки, – но он мелькает. Его черты размазываются, контуры расплываются, как карандаш под ластиком, и мальчик становится почти прозрачным, ненастоящим. По его телу проходит неуловимая рябь, какая, бывает, висит над асфальтом в жаркий день, – а потом он снова становится обыкновенным мальчиком, таким же, как они. До Яны доходит, что за жижа сочится между его пальцами; песок уходит из-под ног, и она плюхается на колени рядом с Ольгой.

Едва поняв, что мальчик ранен, Яна понимает и другое: он умирает. Так выглядит смерть на самом деле: человек не падает, раскинув руки, как в кино про войну. Он просто исчезает. На самом деле исчезает. Взрослые устраивают похороны и делают вид, что закапывают мертвое тело, потому что не хотят выдавать эту тайну, не хотят даже говорить о ней. Никто не хочет знать, что, умирая, человек просто... ну... растворяется.

Наверное, поэтому ее не взяли на похороны мамы. («Ты уже большая и можешь посидеть пару часов одна», – говорит папа. Он стоит, неловко привалившись бедром к письменному столу, и рассеянно озирается по сторонам. Яна вдруг понимает, что папа впервые с тех пор, как они с мамой развелись, зашел дальше коридора. Наверное, ему здесь все странно: дом вроде как его, а вроде уже и нет. «Не капризничай, и так тошно», – говорит папа и вертит в руках новенькую мамину пудру, которую она достала всего неделю назад. Открывает, щелкнув замочком. Закрывает. Открывает. Приподнимает поролоновую подушечку, трогает пальцем еще гладкую, почти не тронутую поверхность, – Яну обдает густым амбровым запахом, – и спохватывается: «Ты ела? Марина успела тебя покормить?» Яна торопливо кивает. Она не видела соседку со вчерашнего вечера, но ей не нравится, как папа прячет глаза, суетится и хлопчет руками. Не нравится, с каким равнодушным любопытством трогает мамины вещи – будто они ничьи. «Она мне макарон дала», – говорит Яна. Папа кивает: «Хорошо, хорошо...», с решительным хлопком закрывает пудреницу и почти бегом бросается в коридор. Шумно дышит, натягивая ботинки. Бросает: «Будь умницей, не балуйся». Дверь в квартиру захлопывается. Яна открывает пудреницу. Трет подушечкой нос. Пудра пахнет мамой.)

Теперь Яна понимает, что там, на похоронах, надо было делать вид, что мама – какая-то ее часть – еще здесь. Притворяться, что в гробу лежит тело. Нести пустой гроб медленно, напрягая плечи и руки, подгибая ноги, чтобы сделать вид, что это тяжело. Понарошку целовать воздух над подушкой. Даже если бы Яна запомнила все правила, она могла что-нибудь перепутать и все испортить.

– Не получается, – с отчаянием выговаривает Ольга, и Яна приходит в себя.

Мир перестает качаться, и мальчик, только что полупрозрачный и бледный, словно обкатанный морем кусочек кварца, становится четким, как будто ее зрение наконец пришло в норму. Ольга пытается прижать рубашку к ране. На ней осталась только майка, и смуглые голые плечи покрыты большими синеватыми мурашками. Куртка мальчика расстегнута; Яна берет его за руки,

отводит ледяные мокрые ладони от живота, задирает одежду и зажмуривается. Ольга сосредоточенно сопит, пытаясь приладить скомканную рубашку к ране. Ткань уже покрылась жирными, остро пахнущими пятнами.

– Он опять... – шепчет Ольга.

Яна заставляет себя посмотреть. Мальчик снова расплывается; середина его тела почти исчезла, и смятая рубашка будто висит в воздухе.

– Убери, – доносится голос сверху. Филька втискивается между девочками. В руке у него старая консервная банка, полная воды. На руку Яны льется дрожащая холодная струйка, и она поспешно убирает ладонь. Набрав в грудь воздуха, Филька сдергивает превратившуюся в грязную тряпку рубашку. Набрякший кровью рукав чиркает Фильку по животу, оставляя на футболке бурый след. Яна сглатывает и отворачивается, но успевает заметить, что мальчик снова появился, стал почти отчетливым... почти просочился обратно в этот мир. Филька льет воду на рану.

– Главное – остановить кровь, – Ольга расправляет рубашку. Яна перехватывает рукав, подсовывает его под тощий бок. Мальчик тонкий и легкий, и Яне удастся приподнять его поясницу и протащить рукав на другую сторону. Мальчик стонет, сучит ногами, и Филька говорит:

– Его надо в больницу. Мы можем сделать носилки... носилки из веток и курток, слышишь, Ольг?

Ольга сосредоточенно связывает рукава, и рубашка превращается в подобие широкого бинта. Она опускает руки, садится на пятки и тихо говорит, глядя в песок:

– Если кто-нибудь узнает – Янкиного папу в тюрьму посадят.

Филька шумно выдыхает и отпускает ветку, которую пытался сломать. Зеленый хвост стланика пружинисто взмывает в небо. Яна смотрит на него как замороженная. Краем глаза она видит, что раненый мальчик снова начинает расплываться. Что-то ужасно клокочет в его горле. Ребра поднимаются и опускаются, как крылья. Ольга прижимает промокшую насквозь повязку, и черная жижа блестит лаковыми лужицами в складках ткани.

– Может, сами его вылечим? – безнадежно спрашивает Филька, и Ольга молча мотает головой.

Кто-то сильно толкает Яну под локоть; из-под руки высовывается любопытный мокрый нос Мухтара. Яна машинально чешет пальцем короткую жесткую шерсть между глазами. Отводит собачью морду ладонью.

– А мы наврем, что ничего не знаем, – говорит она. – Все равно нас никто слушать не будет...

Мысленно она рисует себе дорогу до города – через сопки, по мари, в обход бухты, которую никак не одолеть вброд с носилками. От города до озера можно добраться за полчаса, но обратный путь кажется бесконечным. «Может, он... ну, растворится до того, как мы донесем его, – думает Яна. – Может, все обойдется... само».

Мысль настолько отвратительная, что хочется провалиться сквозь землю. Исчезнуть, как этот незнакомый мальчик. А вот мысль и похуже: они могут просто убежать, бросить его здесь, и никто не узнает. Яну скручивает, как будто кто-то пробил дырку в ее собственном животе. Не в силах это вынести, она вскакивает на ноги и тараторит:

– Давайте делать носилки. Свяжем палки шнурками. Филька, ты вообще дурак, так не ломаешь, – она отпихивает его в сторону и хватается за липкую от смолы ветку. Выкручивает, пытаясь разорвать розовые волокна древесины, измочаленные, но все еще прочные. – Дай ножик! И куртку снимай, у тебя самая большая. И шнурки вытаскивай, и Ольгины тоже! Да быстрее же!

Мухтар, привлеченный суетой, снова подходит поближе. Фыркает в брошенную на песок Филькину куртку. Толкает лбом Ольгу. Она по-прежнему сидит на коленях над мальчиком, наливает в ладонь воду из банки и размазывает ее по белым щекам – мерно, как робот. Толчок собачьей головы сбивает ее, и Ольга, шмыгнув носом, ставит банку на песок. Мухтар берет мальчика зубами за рукав, тихонько тянет, и контуры тела снова начинают дрожать и расплываться. Мальчик почти исчезает. Он – всего лишь прозрачная тень, дрожащая над песком. Ольга отпихивает собаку коленом, визгливо вскрикивает:

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/shainyan_karina/s-klyuchom-na-shee

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)